

Николай ЭНГЕЛЬГАРДТ

ОКРОВАВЛЕННЫЙ ТРОН



Серия исторических романов

Николай Энгельгардт
Окровавленный трон

«ВЕЧЕ»

1907

Энгельгардт Н. А.

Окровавленный трон / Н. А. Энгельгардт — «ВЕЧЕ»,
1907 — (Серия исторических романов)

Действие романа происходит в конце XVIII века во времена правления Павла Первого. Привычный образ императора – тупого солдафона и полоумного деспота, помешанного на муштре и смотрах, подозрительного и кровожадного, – рушится с первых же страниц книги. С одной стороны, это мечтатель, нежный и любящий муж и отец. С другой – неуравновешенный, деспотичный человек, власти которого нет границ, приступы ярости и гнева его непредсказуемы. Придворные интриги, искренняя любовь и холодный расчет, заговор против императора Павла и его гибель – вот о чем увлекательно рассказывает книга известного историка, писателя и публициста Николая Александровича Энгельгардта (1867–1942). Другое название книги: «Павел Первый»

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ЧАСТЬ 1	8
I	8
II	12
III	15
IV	17
V	19
VI	21
VII	24
VIII	27
IX	30
X	34
XI	36
XII	38
XIII	40
ЧАСТЬ 2	42
I	42
II	45
III	48
IV	50
V	53
VI	55
VII	58
VIII	60
IX	63
X	65
XI	68
XII	71
XIII	73
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Николай Энгельгардт Павел Первый

*Сядьте, лорды,
Со мной на землю, поведемте речь
О бедных королях. Взгляните, сколько
Их свергнуто с престолов,
пало в битвах,
Измучено явленьем страшных теней...
Смерть царствует в короне королей!
Там, там она, смеясь и скаля зубы,
Насмешиливо дарит ничтожный миг
Им почестей и славы, и безумцы
Грозят с своих престолов...
Шекспир. Король Ричард Второй
Действ. II. Сц. II*

ПРЕДИСЛОВИЕ

— Ah! monsieur l'auteur, quelle belle occasion vous avez la de taire des portraits! Et quels portraits! Vous allez nous mener au château de Madrid, au milieu de la cour. Et quelle cour!..

— Hélas! monsieur le lecteur, que me demandez – vous là?.. Je voudrais bien avoir le talent d'écrire une Histoire de France; je ne ferais pas de contes...

— Ah! je le m'aperçois que je ne trouverai pas dans votre roman ce que j'y cherchais.

— Je le crains.

Prosper Mérimée. Chronique du règne de Charles IX.

(— Ах, г. автор, какой прекрасный повод дать ряд портретов! И каких еще! Вы поведете нас

в испанский замок, ко двору. И какому!..

— Ах, г. читатель, что вам от меня угодно?.. У меня, кажется, способности написать историю Франции, но я не умею рассказывать сказки...

— Ах! Кажется, я не найду в вашем романе того, что ищу.

— Боюсь, что не найдете.

Проспер Мериме.

Хроника царствования Карла IX. Гл. VIII. Разговор между читателем и автором.)

За последние два года явилась возможность обнародовать многие документы, проливающие яркий свет на трагическую личность императора Павла Петровича, его двор и роковые мартовские события, завершившие краткое царствование «коронованного Гамлета». До сих пор сокрытое под спудом цензурного запрета стало достоянием научной критики. Но уже в капитальном труде покойного Шильдера, истинного художника исторической монографии, возникла необыкновенно сложная и противоречивая фигура монарха, до тех пор в ходячих анекдотах и пошлых эпитафиях слышавшего вульгарным тираном и ограниченным полубезумным деспотом. Оказалось, что в личности Павла I художник может найти неиссякаемый материал черт высоких, рыцарски благородных, политического гения, самой утонченной обра-

зованности, самой нежной чуткости и, рядом с этим, дикие взрывы необузданного гнева, тиранства, слепого самовластия, и все это, переплетенное трагическим юмором и буффонадою, достойно, быть может, родителя его, Петра III. Художник, вглядываясь в павловскую эпоху, найдет в ней все элементы великой трагедии, самую романтическую обстановку, он признает, что Павел и окружавшие его исторические личности достойны только шекспировской хроники. В Павле – скопление всех противоречий, искривлений, несуразностей петербургского периода русской истории. Он был наследником всех кровавых переворотов XVIII века; но в роковых мартовских днях – исток и всех переворотов XIX века. «Освободители», наполнившие спальню Михайловского замка в ночь с 11 на 12 марта 1801 г., были, несомненно, прадедами всех последующих «освободителей».

Прагматическая нить истории XVIII столетия увидит в Павле I логическое последствие трагической смерти несчастного царевича Алексея, и, в свою очередь, именно ночь 11 марта является клубком прагматической нити истории XIX века и даже наших дней. Декабристы, первое марта и современное «освободительное движение» – все это зародилось там, в мрачном замке-крепости, по плану укреплений Вобана, со рвами, подъемными мостами, потайными ходами, люками бездонных колодцев, лабиринтом дворов, лестниц, коридоров, с намерзшим инеем и льдом по стенам сказочно роскошных зал, с плесенью, поедающей драгоценную живопись, гобелены, бархат, с туманом от непрсыхающей сырости. Отсюда и весь мрак, весь ужас русской революции, совершающейся рядом взрывов у ступеней окровавленного трона уже два века. Кровь царевича Алексея повела к крови несчастного Иоанна Антоновича, Петра III, Павла Петровича. Кровь Павла Петровича отозвалась кровью 14 декабря и 1 марта, и ныне всходит кровавым посевом «конституционного» 1906 года. Кровь рождает кровь. Страшный посев рукою Петра Великого, начавшего казнями стрельцов и кончившего пытками и умерщвлением родного сына, по сей день кровавой жатвой растет по Руси. Преступление на троне падает на весь народ. Таковы роковые законы истории, такова ее кровавая прагматика.

Центральное положение фигуры Павла I на пороге двух столетий давно бросалось в глаза авторам мемуаров того времени. Перешагнув одиннадцатое марта, оставив за собой обезображенное тело с разбитым виском, под осеняющей огромной треугольной шляпой, на торжественном катафалке, антично-прекрасный златокудрый юноша, император Александр не страшнел, однако, с плеч своих груза преступлений XVIII столетия и, вступая в Успенский собор, за шлейфом горностаевой мантии влек целую свиту потрясающих фигур усердных «слуг» своих предшественников.

Но, изучая двор самого Павла I, мы находим в нем обломки всех революционных переворотов, потрясших Европу с 1789 г. Тут и французские эмигранты, и принц Конде, и развенчанный польский король, тут мальтийские рыцари, тут масоны и якобинцы под благочестивыми масками, тут и Адам Чарторыйский, и немецкие принцы, и наследники политики герцога Иоганна Бирона – курляндские лисицы с сердцами тигров! Тут и иезуиты, и улыбающиеся итальянцы! Какая разнообразная смесь эпох, верований, понятий!

И над всем этим пестрым людским фараоном – монарх от головы до ног, гротескный мальтийского ордена, угадавший значение первого консула Наполеона Бонапарта и провидевший в нем если и не короля, то кого-то не ниже в отношении искусства самовластия, в византийском злато-алом далматике, с перевязью, на коей вышиты Страсти Христовы, в трехугольной шляпе и ботфортах, с гневом на челе, с прекрасной грустью искаженного природой гения в больших глазах, со змеящейся улыбкой буфона на устах, – сам Павел Петрович, самодержец всероссийский! Дело истории произнести беспристрастный и окончательный суд над нравственной личностью и делами его. Тем более что краткому царствованию Павла предшествовал многолетний подготовительный «гатчинский» период, мало изученный и давший начало целой системе, гражданской и военной, сохранявшейся в два следующие царствования. Прошло время пошло-либерального, короткоумного и верхоглядного высмеивания Павла Петро-

вича, вертевшегося на обвинениях его... в перемене екатерининского обмундирования гвардии на старопрусские кафтаны, косички и букли!.. Мы знаем, что армия и простой народ любили Павла. Мы знаем, что развращенность и изнеженность гвардейцев в последние годы царствования Екатерины превосходили всякое вероятие. Мы уже с иных точек смотрим на многое в царствование Павла I, и в особенности, на «пьяных режиссеров», «освободителей» ночи одиннадцатого марта. Конечно, весы истории еще долго будут колебаться, склоняясь то вправо, то влево. Еще долго будут спорить, решая загадку Павлова царствования. Но художника, но беллетриста, но драматурга будет всегда привлекать романтическая фигура духовидца, рыцаря и Гамлета Российской империи, дающая для пера и кисти, для искусства актера самые яркие и благодарные контрасты.

Если мы сказали, что личность Павла и вся его эпоха, люди, его окружавшие, трагедия, совершившаяся в Михайловском замке, под силу шекспировской хронике, то этим определили всю скромность той задачи, которой хотели достигнуть в нашем труде. Воскресить, хотя несколько в более наглядных картинах, в более живописных портретах, чем те, которые дают исторические монографии, отодвинутую от нас столетием эпоху – вот все, чего мы хотели достигнуть. Предмет еще нов под пером беллетриста. И наш первый абрис средствами художественного слова даст удовлетворение первому свежему любопытству читателей. Но мы не сомневаемся, что личность Павла скоро станет в ряду излюбленных романов, драмой сюжетов из нашей истории, и тогда более сильное перо даст образам ту шекспировскую силу, о которой не дано мечтать обыкновенным способностям беллетриста. Определим труд словами остроумного автора «Chronique du règne de Charles IX», которого так любил Пушкин и отрывок из довольно неучливой пикировки которого с читателем мы поставили эпиграфом этого предисловия: «Je venais de lire un assez grand nombre de mémoires... J'ai voulu faire un extrait de mes lectures, et cet extrait, le voici», – то есть: «я прочел довольно большое число воспоминаний... Я задумал составить экстракт из прочитанного мною: и этот экстракт перед вами».

Николай Энгельгардт

19 октября 1906 г.

ЧАСТЬ 1

*Que de choses dans un menuet
Recommencez votre révérence,
et que vos titres de noblesse vous
accompagnent dans vos moindres
actions, madame!*

Marcel, danseur (mort en 1759)

*...Тут тихо, тихо, словно из далека,
Послышался старинный менуэт:
Под говор струй так шелестит осока,
Или, когда вечерний меркнет свет,
Хрущи, кружась над липами высоко,
Поют весне немолчный свой привет,
И чудятся нам в шуме их полета
И вьолончеля звуки и фагота.
И вот, держась за руки едва,
В приличном друг от друга расстоянья,
Под музыку мы двинулись...*

Гр. А.К. Толстой. Портрет

I

СТАРАЯ ФАВОРИТКА И «БРИЛЛИАНТОВЫЙ» КНЯЗЬ

— Ах, дорогой князь, не говорите мне ничего в пользу вашего друга. Я могу чувствовать наклонность только к благородному сердцу, и все поступки, ему чуждые, внушают мне неодолимое отвращение!

Фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова сказала эти слова давнему приятелю, «бриллиантовому» князю Александру Борисовичу Куракину.

Они сидели в небольшой гостиной покоев верхнего этажа Смольного монастыря, куда уже не раз удалялась от двора Екатерина Ивановна, теперь, видимо, навсегда утратившая фавор. Император Павел Петрович был увлечен новой привязанностью.

Окно было открыто. Жаркий июльский день только еще начинался. Свежее дыхание вод и растений увлажняло воздух. Испещренный цветами зеленый ковер муравы спускался с прихотливой сетью узких дорожек от самых стен белого квадратного здания до Невы. Посредине луга помещались мраморные солнечные часы и прелестная группа: Амур, с крылышками бабочки, как бы летящий за тенью квадранта, но связанный по рукам и ногам цепями, конец которых держит Разум. На часах была надпись: «L'amour réduit à la raison».

— Вы знаете нашего друга, — мягко возразил князь Куракин, — вы знаете, что когда новое чувство овладевает его сердцем, оно вместе с тем господствует над всеми его помыслами. Тогда все то, что раньше имело для него значение, все, что было для него полезно, дорого, приятно, перестает существовать для него. Но и новое — стареется. Время излечит нашего друга от увлечения, и основные чувства возьмут верх. Но только о том говорю, дорогая, что вы имеете еще достаточно власти над императором, чтобы смягчить опалу, постигающую ваших друзей. Душа у него прекраснейшая, честнейшая, великодушная и невиннейшая, знающая зло лишь с дурной стороны!

– Сердце! – с горестной восторженностью воскликнула сорокалетняя смолянка. – Сердце Павла! О, кто же лучше меня может знать все возвышенное благородство этого сердца! Но... слуга Iwan, отвратительный Iwan! Знаете, князь, Иван Кутайсов поклялся перед людьми, которых считает своими клеветами, и сказал точно в этих выражениях, что он сумеет дать чувствам своего господина какое будет угодно ему направление.

– Негодяи бывают болтливыми, – заметил Куракин. – Это, может быть, благодеяние природы, снабдившей и ядовитых змей погремушками.

Нелидова не слышала остроумного сравнения князя. Негодование увлекло ее. Она говорила:

– Слуга заронил и укрепил мысль завести связи совсем иные, чем те, которые его господин имел со мной. Стремится воспалить воображение господина порочным удовольствием, он нашел сообщников в этой девушке и ее услужливом отце. Я удаляюсь с их пути. Что же еще вы хотите от меня?

– Я уже это объяснял вам, – сказал Куракин. – Посещение Смольного императором в день тезоименитства государыни дает возможность вам видеть его.

– Почему вы хотите, чтобы я виделась с ним? – с досадой сказала Нелидова. – Встреча с ним возбудила бы во мне только неприятные чувства. В его поступках проявилась низость, – да, не спорьте князь, низость – la bassesse.

И, как будто это французское слово имело особую силу доказательности, фрейлина умолкла и с решительным видом поднесла к слегка вздернутому носику флакончик с солью.

В небольшой гостиной, заставленной прихотливой мелкой мебелью, ширманы, фарфоровыми фигурками, миниатюрная Нелидова сама казалась фарфоровой маркизой, с крошечными ножками в башмачках с высокими красными каблучками, с ручками ребенка, со старомодной прической поднятых высоко пудренных волос.

«Бриллиантовый» князь получил это название в екатеринины дни, когда являлся в кафтанам, усыпанных бриллиантами: с бриллиантами на башмаках, шпаге, табакерке. Павел заставил вельможу скрыть свои роскошные вкусы. Не широкого охвата ум, не старый, опытный придворный, изяществом полной фигуры, движениями и словами поддерживавший славу екатерининского двора, при котором воспитался, он был чужд утонченностям чувств, свойственным старой смолянке, представлявшей невиданное еще в истории дворов Европы явление – платонической фаворитки монарха! Только рыцарственная фантазия Павла могла годами питаться такой эфемерной связью. Совершенный эгоист, высокий ценитель благ тленных, гастроном, любитель роскоши, драгоценных камней, искусств, прекрасных женщин, в застольной мужской беседе циник, князь Куракин понимал, что именно в этой отвлеченности и бесплотности уз, связывающих императора и фрейлину, – основание того, что и он сам и все лица, связанные с ним и Нелидовой, в сущности, держались при дворе на тончайших паутинах. Дунул знойный ветер чувственности, и эти паутины оборвались.

«Иван», из брадобреев шагнувший в обер-гардеробмейстеры, наконец, и в обер-штальмейстеры, рассчитав верно, противопоставив стареющей Дульцинее государя меланхолическую чувственность знаменитой московской красавицы девицы Лопухиной.

Положение князя Куракина было чрезвычайно трудное. Он просил отставку. Император со странным хохотом и непонятными жестами сказал, что он сам знает, когда князь ему более не понадобится. Но брат князя, генерал-прокурор Алексей Куракин, уже был отставлен. Финансовые операции, вспомогательная касса для дворянства, им задуманная, и различные предложения, настоящими авторами которых были Сперанский, молодой, даровитый попovich, выдвинутый князем Алексеем и числившийся в его канцелярии, и прожектор Роберт Вуд, комиссионер голландского банкира Гопа, настроили против генерал-прокурора канцлера Безбородко и государственного казначея графа Васильева – лиц, пользовавшихся чрезвычайным

доверием государя. По мнению Безбородко и Васильева, генерал-прокурор садится не в свои сани и подал планы неудобные и корыстолюбивые.

Князь Алексей Куракин был смещен, а место его занял отец новой фаворитки князь Лопухин.

Отставлены были одновременно барон Бугсгевден и генерал Ховен, женатые на интимных институтских подругах Нелидовой. Мало того, опала обрушилась и на барона Гейкинга, президента юстиц-коллегии, женатого на дочери престарелой начальницы Смольного, статс-дамы Делафон, прозванной всеми воспитанницами монастыря «Guten Mama».

Князь Александр Борисович Куракин рассчитывал на содействие близких к Нелидовой французских эмигрантов. Этих лиц он ожидал сегодня к определенному часу в гостиной Нелидовой, к которой приехал заранее, чтобы приготовить ее к предполагаемому совещанию. Но более чем когда он нашел старую монастырку полной восторженно-благородных чувств, совсем не отзывчивую к практическим планам придворного. Тем не менее он терпеливо продолжал обработку почвы в нужном ему направлении. В день тезоименитства императрицы Марии Федоровны, 22 июля, император с приближенными вельможами должен был пожаловать в Смольный на «полдник» и увеселения воспитанниц. В эти посещения Павел Петрович проявлял все обаятельнейшие стороны противоречивого характера своего, как будто общество прелестных малюток и целомудренных девушек-детей отгоняло от него мрачные фантомы больного воображения. Это была лучшая минута для объяснения Екатерины Ивановны со своим прежним коронованным рыцарем-поклонником.

Екатерина Ивановна была слишком умна, чтобы не понимать намерений «бриллиантового» князя. Но гордость ее была возмущена.

– *Quelle bassesse! Quelle bassesse!* – с горечью повторяла она про себя полюбившееся слово.

– Не возмущайте моего уединения! – в то же время говорила она. – Здесь, в милом монастыре, я найду себе тысячу радостей в жизни с людьми, которые меня воспитали.

– Но мадам Делафон чрезвычайно стара, и едва ли долго может служить вам охраной, – попытался возразить Куракин.

– Меня переживут некоторые из дам здешнего чрезвычайно приятного общества!

– Монастырь – все же монастырь. Ядовитые жала престарелых ос оттачивает скука.

– У меня прекрасная библиотека, у меня моя арфа, мои карандаши – все предметы, которые так хорошо служили мне развлечением в моменты, когда мне приходилось страдать. У меня, милостью моего императора, достаточные средства, чтобы благотворить зябнувшей, нагой и голодной нищете, которая находит тропинку в эти монастырские стены. Какое наслаждение в милосердии к страждущим человечества, неистощимое наслаждение! И, наконец, главное, – вера, утешение религии, ничем не развлекаемых размышлений о величии Божества, о ничтожестве и суеде всего земного. Посмотрите, князь, – поднимаясь на красных каблучках и грациозно протягивая ручку к окну, продолжала Нелидова, – посмотрите, на той стороне Невы – тихое пристанище. Там, в тени плакучих берез, я найду последнее убежище, так близко от родного монастыря, где я была так счастлива, так бесконечно счастлива!..

Князь посмотрел в направлении, в котором простирала ручку Екатерина Ивановна, и на другом, Охтенском, берегу с большим неудовольствием увидел между кудрявыми березами мелькающие кресты кладбища.

«Бриллиантовый» князь, преданный тленным прелестям красоты рисованной и красоты живой, честолюбию и утонченностям стола, терпеть не мог напоминаний о смертном часе.

Он не сказал ни слова, только крикнул и понюхал табаку из драгоценной табакерки, которую держал в руках.

Лукавый блеск мелькнул в умных глазах миниатюрной фаворитки, но сейчас же погас.

Она опустила опять в кресло, безнадежно бросив ручки на пестренькое свое платице.

– Мне не должно его видеть, нет, не должно! – по-детски складывая плаксиво губки, прошептала она. – Его счастье будет всегда одним из предметов самых горячих моих молитв. Но это все, чем я могу и хочу ему содействовать.

– Нунций его святейшества, граф Литта! – возвестил, появляясь, лакей. – Ее высочество, принцесса Тарант и его сиятельство, граф Шуазель-Гуфье.

II ОБЛОМКИ КОРОЛЕВСКОЙ ФРАНЦИИ

Брат чрезвычайного посла Мальтийского ордена, нунций Литта, высокий молодой человек, с идеально правильным итальянским лицом, в черной сутане и башмаках с пряжками, как духовная особа, входил первым, но в дверях он посторонился и с глубоким поклоном пропустил в гостиную престарелую принцессу, шедшую под руку с Шуазелем.

Бывшая статс-дама несчастной королевы Марии-Антуанетты, пережившая ужасы революции, принцесса являлась живой реликвией старого Версальского двора и былой славы королевской Франции. Она была одета так же, как и в дни величия Людовиков, но голова ее, отягощенная высокой пудреной прической, постоянно дрожала, так что принцесса, чтобы скрыть это сколь возможно, подносила руку с кружевным платком и незаметно поддерживала подбородок.

Граф Шуазель-Бопре, принявший имя Шуазель-Гуфье после женитьбы на последней из фамилии Гуфье, происходившей от славного адмирала эпохи Франциска I, был посланником в Константинополе, когда разразилась революция. Он нашел убежище в России, облаканный Екатериной в Царском Селе как автор прелестного сочинения «*Voyage pittoresque de la Grèce*». Императрица даже хотела назначить графа президентом Академии на место Дашковой, но его смешные увлечения одной известной кокеткой высокого полета заставили ее отменить это решение. Императрица лишь купила замечательные серебряные сервизы графа. Император Павел покровительствовал графу. Он был допущен в интимный круг императора как знаток, действительно несравненный, искусств, назначен был президентом Академии художеств, – пост, который привлекал и русских знатоков, и покровителей искусств, и, прежде всего, графа Александра Сергеевича Строганова. Мало того, император доверил Шуазелю знаменитую библиотеку Варшавы и пожаловал обширные земли в Самогитии.

Маленького роста, с громадными черными бровями, с носом попугая, с красным цветом лица, причесанный с буклями и косой, как требовала «гатчинская» мода, введенная Павлом Петровичем, в долгополом старопрусском кафтане, он носил только маленький крест Людовика в бутоньерке.

Нелидова встала и пошла навстречу гостям. Три низких реверанса, которыми она приветствовала принцессу, вызвали ответный реверанс принцессы Тарант, после чего они взяли друг друга за руки и с безмолвным умилением посмотрели взаимно друг на друга.

– Принцесса, при каких обстоятельствах мы видимся с вами! – сказала Нелидова. – Как еще недавно кажется то время, когда мы впервые узнали друг друга! Как свежо воспоминание о путешествии графа и графини Северных! Тысяча семьсот восемьдесят первый год!

Голова принцессы Тарант задрожала от внутреннего волнения еще заметнее, так что она изо всей силы схватила себя за подбородок, силясь поддержать ее.

– Весь мир изменился с тех пор в немного лет, дорогая mademoiselle, весь мир! Гнев Божий постиг Францию и потряс престолы королей Европы. Безумие народов готовит им гибель. Но какие прекрасные дни напомнили вы мне, какие прекрасные дни!

Принцесса усаживалась в кресло. Улыбка восхищения порхала возле ее тонких губ, озаряя отцветшее, но нарумяненное лицо.

– Прелестные воспоминания! Счастливые времена! – отозвался граф Шуазель.

– Помните, князь, наше путешествие? – обращаясь к Куракину, оживленно заговорила Екатерина Ивановна. – Вы ведь были тогда в свите великого князя... Ах, он был тогда еще великий князь! Помните Вишневец, где нас принимал польский король Станислав-Август? И он уже не король... А потом – Вена, Неаполь, Рим, древности, искусства, самая приятная

погода, и этот милый, добрейший папа Пий Шестой! И потом Милан, Турин и, наконец, Париж – водоворот людей, вещей и событий, как сказал тогда его высочество!

На всех, бывших в гостинной, кроме нунция Литты, нахлынули, видимо, такие волнующие воспоминания, что несколько мгновений длилось молчание. В умах собеседников быстро сверкающей вереницей прошли картины недавних еще, но безвозвратно былых приемов, празднеств, балов в Версале, Трианоне, Шантильи, которыми чествовали Людовик XVI и Мария-Антуанетта русских гостей – сына северной Астреи с прекрасной супругой, *incognito* объезжавших дворы Европы. Действительно, старая французская монархия представлялась тогда цесаревичу Павлу во всем блеске своего величия, невыразимой прелести, утонченной роскоши, нравов, обхождения, просвещения.

– Павел Петрович очаровал французское общество. В Версале, да, – в Версале он производил впечатление, что знает французский двор, как свой собственный, – сказал князь Куракин.

– А в мастерских наших художников, – заметил граф Шуазель, – Он обнаружил такое знание искусств, которое могло только сделать его похвалу более ценной для художников. Я могу это засвидетельствовать, потому что король... – он внезапно остановился и, закрыв руками лицо, прошептал: – Ах! То был король Людовик XVI! – повелел мне сопровождать графа Северного в его посещениях мастерских, – закончил, открывая лицо, граф. – В особенности он осмотрел с величайшим вниманием мастерские Грёза и Гудона.

– В наших лицах, академиях, – сказала принцесса Тарант, – своими похвалами и вопросами Павел Петрович доказал, что не было ни одного рода таланта и работы, который не возбуждал бы его внимания, и что он равно знал всех людей, знания или добродетели которых делали честь их веку и их стране. Его беседы и все слова, которые остались в памяти, обнаружили не только весьма проницательный, образованный ум, но и утонченное понимание всех оттенков нашего языка. Это было общее мнение.

– Во время придворного бала в Версале, – в свою очередь рассказал князь Куракин, – толпа придворных окружила короля. Тут же находился цесаревич, и на замечание Людовика XVI, что их теснят, великий князь сказал: «Извините, ваше величество, я в эту минуту считал себя за одного из подданных ваших и, подобно им, находил, что, чем ближе к вам, тем лучше».

Улыбка восхищения появилась на устах старых куртизанов, так был в стиле Версаля этот утонченный образец лести, напомним Куракиным.

Опять помолчали, погруженные в сладкие воспоминания.

«Бриллиантовый» князь воспользовался минутой, чтобы перевести беседу на события дня. Лица всех выразили крайнюю озабоченность.

– Знаете ли вы, князь, – сказал Шуазель, – кому, собственно, ваш брат обязан немилостью? Граф Федор Головкин сумел представить планы Роберта Вуда своекорыстными...

– Граф Федор? Якобинец? Приятель Платона Зубова? А!... – слегка вскрикнул пораженный князь. – Да, да, – обращаясь к нунцию, продолжал он, – все Головкины – якобинцы. Но неужели вы не могли бы разъяснить вашему брату Юлию, приобретающему столь сильное влияние на императора, что наше общее дело – борьба с якобинством и восстановление потрясенных революцией основ общества – может пострадать, если происки таких лиц, как Федор, увенчаются успехом?

Молчавший до сих пор нунций пожал плечами.

– Мое влияние на брата ограничено, – сказал он. – Тем более что он всецело поглощен орденом и своей женитьбой на вдове Скавронской.

– Он женится на Скавронской? На племяннице покойного Потемкина? И государь соглашается на этот брак?

– На днях графиня Скавронская, невеста моего брата, будет принята при дворе и даже включена в число особ высочайшей фамилии.

– Невероятно! – изумился князь Куракин. – Все, что связано с именем Потемкина, до сих пор было ненавистно императору! Графине пришлось покинуть столицу... А теперь!..

Нунций не сказал ничего на последнее восклицание князя, при всей придворной опытности сбитого с толку на этот раз неожиданностью события.

– Вы забыли, князь, – тихо напомнила Нелидова, – что покойный супруг графини Екатерины Васильевны – внучатый брат Петра III.

– Я должен вам сообщить нечто еще более важное, – сказал граф Шуазель. – Граф Бугсгевден посылается в его эстляндский замок Лоде.

Зловещее молчание охватило всех сидевших в гостиной.

Екатерина Ивановна вдруг решительно поднялась на красные каблучки. Тонкие брови ее свела глубокая морщинка.

– Теперь, когда честный Бугсгевден удаляется в изгнание, я знаю свой долг, – сказала она решительно. – Я должна разделить это изгнание с ним и с его женой, моей дорогой подругой. Да, князь, я согласна видеть вашего друга завтра на нашем монастырском празднике, но лишь для того, чтобы высказать ему мою уверенность, что он не воспользуется своей властью воспрепятствовать мне последовать за своей добродетельной подругой в ссылку, куда он ее отправляет!

– Но моя милая Екатерина Ивановна, – заговорил растерянно «бриллиантовый» князь, – такое заявление может вызвать крайний гнев государя. А вы знаете, что в припадках гнева он забывает все и... и вы напрасно кладете голову в пасть льва!

– Вы забыли, князь, что император – рыцарь, – сказала маленькая фаворитка. – Еще не было примера, чтобы он обошелся хотя бы только невежливо с дамой!

– Как? А его поступок с госпожой Жеребцовой? – возразил Куракин. – Говорят, она написала письмо к государю на другой день по восшествии его на престол. Письмо было прелестно. И что же? Император распечатал его, плюнул на бумагу и велел Кутайсову так отдать ей.

Нунций и граф Шуазель улыбнулись.

– Фуй, князь, как вам не стыдно передавать такую низкую сплетню! – в негодовании сказала Нелидова. – Возможно ли, чтобы император поступил так с письмом женщины, хотя бы это и была низкая куртизанка и сестра Платона Зубова!

– Однако Жеребцова сама рассказывала это летом и прибавляла, что не простит государю такого поступка с ней, – настаивал Куракин, озлобленный на то, что фантастическое решение старой монастырки губило все его надежды на завтрашний день.

– Если это сделал, то, вероятно, слуга, а не господин. Этот презренный Iwan способен именно на такую лакейскую выходку! Но... довольно об этом, князь! Мое решение вам известно, оно неизменно. Ибо это – мой долг. Дорогой граф, – обратилась она к Шуазелю, – вы хотели посмотреть мои рисунки, чтобы исправить погрешности вашим несравненным карандашом...

III

СЕРДЦЕ ФРЕЙЛИНЫ НЕЛИДОВОЙ

– Дорогая mademoiselle, – сказала, поднимаясь, принцесса Тарант. – Теперь я оставляю вас. Князь, – обратилась она к Куракину. – Вы не откажетесь проводить меня к госпоже Делафон?

– О, да, принцесса, я должен засвидетельствовать свое почтение высокой начальнице и воспитательнице прелестных монастырок! – отвечал князь.

Начались взаимные реверансы и поклоны.

– Идемте, князь, припомним бывшее прекрасное время с госпожой Делафон!

С этими словами старая статс-дама Марии-Антуанетты удалилась из покоев фрейлины Нелидовой.

Екатерина Ивановна между тем, передвигаясь быстро и неслышно на высоких каблучках, собрала рисунки и карандаши и все это представила на суд Шуазеля.

Это были виды различных мест: Павловска, Гатчины, Петергофа и Царского Села, пасторальные сцены к идиллиям французских поэтов и несколько изображений императора Павла Петровича в домашней обстановке.

Шуазель рассматривал с улыбкой неизменного восхищения рисунки и рассыпался в самых утонченных комплиментах.

Нелидова предлагала ему карандаши, но Шуазель отстранял их, уверяя с полной искренностью, как казалось, что поправлять в этих прелестных рисунках решительно нечего.

Он передавал рисунки нунцию, который с самыми разнообразными ужимками немой адорации на подвижном лице каждый раз, взглянув на бумагу, кланялся художнице.

Это привело Екатерину Ивановну в детский восторг. Забыв все горести, она весело улыбалась. Один из рисунков особенно заинтересовал графа. Он изображал лунную ночь, стремительно текущие воды реки, темные деревья над ней и обломленную колонну на берегу. В то время как другие рисунки с тщательной тушровкой и вырисовкой всех мелочей, казалось, были начерчены перышком беззаботной колибри, в этом изображении проявилась неожиданная сила скорбного выражения и движения.

– Это прекрасно! – сказал нунций.

Но Екатерина Ивановна поспешно взяла из его рук рисунок. Брови ее свелись, и опять набежала морщинка между ними.

– Ах, как попал сюда этот рисунок! – сказала она. – Это изображение ужасного призрака моего несчастного детства! Ses eaux si bien ombragées d'arbre touffus qui effrayaient mon enfance!.. Это река в смоленском селе, нашем, Климьятнине, с глубокими, черными стремительными водами, с мрачными старыми, тенистыми деревьями. Мне рассказали о духах, живущих в черной воде... Как это? Водяники, седые, злые старики и девушки с зелеными волосами, которые увлекают прохожих и топят их... И там была еще одна несчастная – крестьянская девушка, лишившаяся рассудка от жестокого обращения своих господ. Она часто бродила в речных тростниках, плакала и хохотала... Ах! И теперь часто мне снится все это и я просыпаюсь с бьющимся сердцем, в слезах!..

Екатерина Ивановна взяла рисунок и поспешно заперла его в один из пузатых, с инкрустациями и толпою фарфоровых фигурок на верхней крышке шкафчиков на ножках, теснившихся среди другой прихотливой мебели гостиной.

– Дорогой граф, лучше оцените вот эти рисунки, – продолжала она, отбирая несколько листов. – Государыня императрица Мария Федоровна дала мне мысль для них – стих Люцилия: «Где можно чувствовать себя лучше, как не в недрах собственной своей семьи?» Я полагаю поднести эти рисунки высоким гостям нашего монастырского праздника.

Она задумалась на мгновение и сидела, подперши пудреную головку. Граф и нунций с особым выражением рассматривали идиллические семейные сцены, поднесение которых Павлу Петровичу теперь имело значение весьма ясного намека.

– Гнев Юпитера есть гнев вселенной, – сказала маленькая фаворитка. – Когда он улыбается – вся природа радостно блещет, щебечут птицы, сверкают ручейки, цветы умильно раскрывают венчики и благоухают, люди согласно, мирно предаются трудам и заботам. Но когда отец богов и людей в гневе – сверкают молнии, ревут ветры, клубятся тучи, природа в смятении и ужасе, столетние дубы падают, вырванные с корнями, подавляя при падении гнезда птичек с их малютками, и в сердцах людских бушуют дикие страсти, зависть и вражда, все нестройно, все несчастно!.. Ужели не высокая заслуга, найдя путь к сердцу владыки, охранять в нем безмятежный мир и тем самым благотворить всей вселенной?.. Павел улыбается – и ликуют подвластные ему бесчисленные народы, Павел в гневе – все трепещет и ужасается. Что говорю! Разве вся Европа не отражает малейшее движение русского царя? Единая опора чести, порядка, законной власти, тронов всей Европы – Павел!.. Хранительница сердца Павлова, смирительница бурь, в нем зреющих, есть хранительница и блага народов, блага всей Европы! Вот высокий жребий, с которым ничто не может сравниться. Что же будет теперь, когда сердце Павла в руках низкой куртизанки, направляемой своекорыстными интриганами, пробудившими в нем желания чувственных удовольствий?.. Но будет об этом! Скажите, граф, вы еще не окончили ваше живописное путешествие в Грецию? Как восхитительны были последние отрывки, прочтенные вами. Императрица была чрезвычайно ими заинтересована.

– Моя работа подвигается постепенно. Надеюсь, что она будет окончена, – скромно отвечал граф Шуазель. – Во всяком случае, возможность окончания этого труда в моих руках. Но безумный вихрь революции, развратные правила и буйственное воспаление рассудка, поправшие закон Божий и повиновение установленным властям, лишив лучших людей Франции их отечества, изгнали и меня. Вместе с тем я лишен возможности кончить мой прекрасный дом в Париже – pavillon d'Italia dans l'avenue de Neuilly. Поверите ли, mademoiselle, там все было сделано по античным образцам древних Афин с совершенной точностью, изяществом, высоким искусством!.. И граф с увлечением пустился в подробное описание павильона Идалии.

Нунций, уже не раз слышавший эти описания, вежливо скучал, терпеливо ожидая их окончания.

Нелидова вставляла свои замечания, показывавшие, что она обладает значительными сведениями в искусстве и жизни античной древности.

IV СЕРДЦЕ ВИКОНТА ТАЛЕЙРАНА

– Садись в мою карету, нунций, – говорил граф Шуазель, выходя из Смольного. – Я тебя довезу до палаццо Юлия. А дорогой мы поговорим о многом.

Теперь он особенно походил на злого попугая, со своим крючковатым носом, насмешливыми глазами и едкой улыбкой на губах, маленький и быстрый в движениях.

Он впрыгнул в карету, как птица в клетку, за ним нунций занес свой квадратный эक्клезиастический башмак.

Граф приказал опустить занавески окон и ехать медленно, как будто карета была пустая.

– Кажется, можно считать несомненным, нунций, что эта роза, в приятном обществе которой мы только что были, отцвела и увяла навсегда. В ней нет благоухания, и замок Лоде будет для нее гербарием. Видел ли свет что-либо подобное? – со злой усмешкой продолжал Шуазель. – Старая дева – платоническая фаворитка императора... С этим покончено, и навсегда! Черные глаза Лопухиной, ее двадцать один год и свежесть беленького личика по законам природы не могли не возобладать над сорока годами и чувственным прекраснотушием, этим – как говорят тяжелые немцы – *Schönseligkeit* нашей приятельницы. Что делает теперь граф Юлий? – спросил Шуазель нунция.

– Брат устраивает свои дела. Вдова Скавронская обладает двумя миллионами ежегодного дохода, – отвечал нунций, – она еще прекрасна; как вдова внучатого брата Петра Третьего, отца императора, она в фантазии его заняла место родственницы и будет считаться принадлежащей к высочайшей фамилии. Приготовляя все для торжества бракосочетания, брат запирается с художником и поэтом Тончи, и они вместе сочиняют торжественную кантату, – *cantata a eseguirsi ail occasione delleélie faustissime nozze di sua eccellenza la signora contessa con sua eccellenza il signor conte*, – переходя с французского на итальянский язык, с улыбкой говорил нунций.

– Когда же будет свадьба?

– Осенью, в октябре.

– А как же с обетом безбрачия бальи и командора ордена?

– Применение к обстоятельствам! – пожал плечами нунций. – Два командорства приносят брату 300 тысяч франков дохода. К тому же сам будущий гроссмейстер ордена, император Павел, не исполняет обета. Разве что ему захотелось бы избавиться от опеки прекрасной супруги.

– Когда примет гроссмейстерство государь? – спросил граф.

– Не знаю. Во всяком случае, скоро. Мальтийский орден, вмещающая в себя древнейшие дворянские роды всей Европы, явится оплотом против якобинства и безбожия, потрясающих монархии. Но, кроме того, святейший отец возлагает большие надежды, что когда император-схизматик станет во главе ордена, подчиненного римскому престолу, когда, таким образом, и сам он подчинится его святейшеству, то это будет шагом к соединению церквей – событие радостное и давно ожидаемое всем христианством. Святейший отец готов даже переселиться на Мальту, под охрану русского отряда, и предпринять паломничество в Петербург для личной беседы с императором. Над этой особой задачей работает аббат Губер, столь счастливо излечивший мучительную зубную боль императрицы Марии Федоровны, перед которой оставалось бессильным искусство придворных врачей.

– Аббат Губер! Иезуит! – изумился Шуазель. – Но ведь он в сношениях с первым консулом Наполеоном Бонапартом, якобинским исчадием адского заговора, погубившего престол Капетов.

– Послушайте, граф, – сказал нунций, взяв его за руку. – Ты ведь знал когда-то виконта Талейрана?

– Талейран! – вскричал Шуазель. – О, это товарищ моего детства, интимный друг юности и первых шагов моих при дворе! Но ведь то было давно. Я еще знал епископа Талейрана. С тех пор он, увлеченный вихрем революции...

– Был последовательно министром иностранных дел Конвента, Директории, и, наконец, первого консула Бонапарта. Милый друг, я видел его в Вене, и виконт Август Талейран-Перигор шлет тебе со мной дружеский привет и напоминает о нежных чувствах былых дней. Они живы в сердце виконта!

– Очень рад, но... орудие Бонапарта! Я – легитимист, приверженец монархии Капетов, имея законного короля Людовика XVIII...

– В Митаве, – подсказал, улыбаясь, нунций.

– Пока – в Митаве, – строго сказал Шуазель. – Но мощное покровительство императора Павла, коалиции монархов Европы и золото Англии скоро возвратят несчастному отечеству законный порядок, а трону Франции и Наварры наследника Святого Людовика.

– И я первый буду приветствовать это счастливое событие, – сказал с важностью молодой нунций.

– Но Бонапарт и виконт Талейран?..

– Конечно, они не станут работать на осуществление планов коалиции. Виконт Талейран занят иной идеей – видеть Наполеона Бонапарта императором французов. Это величайшая тайна, величайшая! – прошептал нунций онемевшему от изумления Шуазелю.

– Виконт Талейран напоминает поэтому о юношеских днях и узах дружбы графу Шуазелю-Гуфье! – сладко улыбаясь, вкрадчивым шепотом сказал нунций на ухо своему спутнику. Красное от природы лицо графа стало пламенным.

– Как же согласить с дружбой Талейрана дело, которому я предан? – спросил граф.

– Очень просто, – беззаботно отвечал нунций: поднявшись на высоту святого престола, на холмы Рима и Ватикана. С этой всемирной высоты все примиряется и объединяется! Благое дело – преклонение выи императора-схизматика и с ним миллионов диких руссов под иго единой спасающей церкви, под власть первосвященника Рима и вселенной! Благое дело – коалиция монархов против масонов и якобинцев и адского духа времени, потрясающего и разрушающего основы европейских обществ! Благое дело и реставрация монархии Капетов! Но благим же делом с высоты святого престола явится и то, что чистейшие руки святейшего отца папы Пия VII возложат корону на императора французов, ныне первого консула Наполеона Бонапарта и, с тем вместе, возвратят клирикам Франции их права и имущество!

Нунций торжественно умолк. И граф несколько мгновений хранил молчание, пораженный грандиозностью планов, развернутых перед его воображением нунцием.

Вдруг попугай тряхнул клювом, острый пламень соображения озарил его круглые глазки, и, с жаром пожав руку нунция, он сказал:

– Проезжая через Вену, передай виконту Талейрану выражения самых пламенных дружеских чувств от товарища невинных игр детства графа Шуазеля-Гуфье! Прелестные воспоминания! Счастливые времена! Леса, поля прекрасной Франции! Приют невинности и мира! О, моя мать! О, невинность! Прелестные, прелестные воспоминания! Вы были для меня источником самых чистых наслаждений! Благоговею перед вами!

V МОНАСТЫРСКИЙ ПРАЗДНИК

22 июля, в день ангела державной покровительницы императрицы Марии Федоровны, с раннего утра Смольный кипел жизнью. Хотя уже накануне все было заготовлено, а обдумано за целые месяцы раньше, хотя императорская чета и августейшие гости должны были прийти только к монастырскому полднику, а солнце еще не высоко поднялось над вершинами парка, все, начиная с начальницы, Софии Ивановны Делафон, до последней воспитанницы из «мелюзги коричневой» самого младшего возраста, хлопотали, волновались, суеились, оглашая дортуары и длинные галереи монастырского здания щебетом французского языка.

За месяц до празднества вышел императорский указ, позволяющий дамам обеих столиц и в провинции от известного чина носить платья, сшитые по новейшей французской моде, и София Ивановна спешно заказала праздничные платья монастырок модного покроя. Было известно, что разрешение дано императором в угоду и по просьбе новой фаворитки Лопухиной. Многочисленные роялисты французской эмиграции увидели в этом опасный для их планов политический шаг императора. Якобинская мода узурпаторов власти древнего престола Франции получала права гражданства в монархической России! Мало этого, император, опять-таки по просьбе Лопухиной, разрешил танцевать вальс, до сих пор ненавистный ему танец революционного мещанства. Это были как бы первые признаки какого-то нового курса, входившего с новой фавориткой и стоявшей за ней партией. Правда, французские эмигранты Петербурга не встретили в опасениях своих сочувствия среди дам и любовниц, находивших, что политика – политикой, а мода – модой. Дамы приняли с восторгом разрешение, благословляли императора, и Лопухина сразу приобрела среди них сочувствие. Ее фавор принес дамам освобождение от старых, ужасных мод. Если главной причиной недовольства среди мужского населения было введение мундиров и кафтанов старопруссского образца, смешных косичек-гарбейтелей и безобразных буклей, если и для мужчин было несносно одеваться старомодно, то что же чувствовали дамы?

Начальница Смольного собрала совет из воспитательниц, едва был обнародован указ. На совете присутствовала и Екатерина Ивановна Нелидова. Она со всей силой и жаром присущего ей красноречия восстала против мысли шить праздничные платья по новой моде и поспешно обучить, сколько можно за короткий срок, вальсу воспитанниц старшего возраста. Нелидова находила, что указ не может касаться Смольного, где девицы должны одеваться по форме, а не по моде. Однако, кроме двух-трех преданных Нелидовой старых воспитательниц, она ни в ком не нашла сочувствия. Все хором восстали, указывая, что цвета лент останутся установленные, а в этом и все; покрой же платьев надо новый, так как императрица, великие княгини, княжны и все дамы, которые прибудут с ними, будут одеты в эти чудные, прелестные, восхитительные греческие хитоны и блестящие «эшарпы». Что касается вальса, то большинство воспитанниц и учить не нужно, так как они сами как-то давно успели ему научиться.

София Ивановна Делафон колебалась. Она знала, что на праздник прибудет и Лопухина со своим отцом, только что получившим княжеский титул. Она знала, что исполнение указа будет приятно императору, и при долгом обсуждении решила против Нелидовой.

Екатерина Ивановна ужасно рассердилась, топнула ножкой и заявила, что, хотя бы весь свет шел за новой модой, она не наденет неприличного хитона и не станет танцевать еще более непристойной пляски немецких мещанок с деревенских ярмарок и базаров. Она будет одета по-старому. С этим Нелидова вышла. Многие насмешливо посмотрели вслед развенчанной фаворитке, понимая ее состояние. Особенно не любившие ее, подумали про себя: «Ну и будь выражена чучелой гороховой, если тебе этого хочется!»

Почтенная начальница Смольного заявила, что так как она и более преклонных лет дамы явятся, конечно, в старинном наряде, приличном их возрасту, то Екатерина Ивановна будет не одна. Это замечание еще более порадовало враждебных «маленькому монстру», как они прозывали Нелидову, воспитательниц.

Приготовления были уже закончены, когда во всех соборах и церквях зазвонили и торжественный красный звон понесся над широким лоном Невы. Звонили и в Смольном. Парадно одетые девицы всех возрастов, прелестные в легких, новых платьях и лентах, отслушали богослужение в монастырском храме.

Вскоре начался и съезд вельмож, приглашенных на празднество. Одни в каретах прибывали со стороны Невской перспективы, но большинство причаливало с Невы к пристани монастырского парка на гребных судах и шлюпках.

Между тем воспитанницы по возрастам выстроились в тени подстриженных деревьев широкой аллеи, осененной темной зеленью мощных ветвей. В руках их были корзины с цветами. Впереди, у самой пристани, поместились: начальница, воспитательницы, девицы с арфами, долженствовавшие составлять аккомпанемент хоровому пению всеми тремястами воспитанницами приветственного гимна державной покровительнице. Среди арф находилась и лучшая арфистка института, Екатерина Ивановна, выделявшаяся пудреной головкой, старомодным платьем, шнуровкой и башмачками на красных каблукках. Но она была нисколько не смешна и напоминала фарфоровую куколку времен Версаля и Трианона, грациозная, исполненная скромного достоинства. Странное смешение глубокой печали, чувства и задорного улыбающегося ума в ее личике делало его замечательным даже среди юных, прелестных, цветущих девушек, греческие хитоны которых вольными струящимися складками и как бы облачными узлами подобранные разноцветными лентами выгодно выставляли стройный стан и всю прелесть девственно круглившейся груди и обнаженных рук.

Среди вельмож и дам, толпившихся на мраморной, украшенной статуями и цветущими померанцевыми деревьями пристани, находился и поэт Державин. Подойдя к госпоже Делафон, он высказал восхищение собранием стольких благородных и благовоспитанных девиц и сравнивал их со стаей белых птиц, весной собирающихся на берегах Волги. Загрохотал императорский салют над Невой. Вельможи и дамы разделились на две группы по бокам пристани. Госпожа Делафон орлиным взглядом полководца, готового к сражению, окинула ряды воспитанниц. Девицы с арфами попробовали еще раз строй инструментов, и дрожащие звуки струн, словно испуганные, пролепетали и умолкли. Воспитательницы в последний раз обошли ряды, оправляя волосы и ленты девиц. Старичок-итальянец, отставной сопрано папской капеллы, преподаватель пения, встал на ступеньке пьедестала мраморного фавна, дувшего в семистольную флейту, под тенью дуплистого, живописного липы, и поднял руку, готовясь дать знак хору и арфисткам. Все затаились. В каждой груди колотилось и замирало сердце. Глаза всех были устремлены на пристань и широкое лоно реки, все горевшее ослепительными искрами отраженного в нем июльского солнца. Одна из воспитанниц зажгла курение на двух античных треножниках по углам пристани, и серебристый дымок, поднявшись облачками, стал ароматными струйками разноситься чуть веявшим теплым ветерком. Но это курение было напрасно. И так весь сад благоухал. Благоухали роскошные цветники партеров, цветущие деревья. Благоухали и рои прелестных девушек всех возрастов от 12 до 17, а может быть, и выше, судя по формам, так как точность в сообщении лет поступавших воспитанниц не соблюдалась. Благоухали их корзинки с цветами. Благоухала и толпа вельмож и дам на пристани.

Салют грохотал.

Императорский катер вдруг выдвинулся среди речного плеса и стал заворачивать к пристани. Весла гребцов, сверкая, поднимались и опускались, и, казалось, катер налетит на мраморные ступени. Но он вдруг подошел плавно бортом.

VI ВЕНЦЕНОСНЫЕ ГОСТИ

Невысокая, но стройная и величественная фигура императора Павла Петровича в шляпе о трех рогах, украшенной страусовым плюмажем и бриллиантовой розеткой, обрисовалась в группе августейшей фамилии и приближенных вельмож.

Император, как всегда при посещении Смольного, был в самом лучшем расположении духа. Большие, прекрасные глаза его сияли «Фебовым лучом» ума, юмора и невыразимой благосклонности, скрадывая негармоничность и некрасивость прочих черт в высшей степени странного, подвижного лица. Опираясь на руку государя, рядом стояла императрица Мария Федоровна в блеске полного расцвета строгой красоты. Великие княгини, Елизавета и Анна, как ни были прелестны, затмевались классической красотой императрицы; античное тело ее, обвитое блестящей тканью хитона, блистало бриллиантовыми уборами; но открытые руки, плечи, грудь соперничали с блеском камней, а зубы улыбающихся уст – с перлами ожерелья.

Великие князья были в пурпурных мундирах Мальтийского ордена, и Александр казался застенчивой девушкой, переодетой рыцарем. Нежное, правильное его лицо в рамке золотых локонов осенял легкий, блестящий шлем; только свойственная ему манера слегка горбиться портила высокий, стройный стан великого князя. Павла, по странному выбору этого властителя, всегда окружали вельможи противоположного возраста – почти мальчики и седые старцы. Так, тут был барон Унгерн-Штернберг, приверженец Петра III, замогильное видение, седой, глухой, дрожащий, огромный и костлявый немец-генерал, истый Харон причалившего судна. Противоположность ему составлял граф Ливен, юноша двадцати двух лет, но уже военный министр. В свите императора находились: развенчанный польский король Станислав-Август Понятовский, на выходах, однако, всегда шедший сзади царской фамилии под золотую порфирию на горностае; принц Конде, недавно прибывший в Россию с целым корпусом аристократов французской эмиграции; фельдмаршал Суворов, вызванный императором из деревенского изгнания; рядом с птичьей физиономией фельдмаршала выделялась низенькая, сухопарая и скорченная фигура остряка, тонкого знатока и покровителя искусств, екатерининского вельможи, графа Александра Сергеевича Строганова; а высокий, в пурпурном мальтийском мундире, с белым тупеем и турецким носом, брадобрей императора, граф Кутайсов смотрел совершенным попугаем. Был на катере и новопожалованный князь Петр Васильевич Лопухин, отец фаворитки, которую Павел считал необходимым иметь в силу этикета, подражая Франциску I, Генриху IV и Людовику XIV.

Свиту императрицы составляли только мать военного министра, гофмейстерина графиня Шарлотта Карловна Ливен, подруга детства императрицы, баронесса фон Бенкендорф, рожденная Шиллинг фон Копштадт и новая фрейлина, юная княжна Анна Петровна Лопухина, украшенная шифром и звездой – невиданная для столь юной придворной особы почесть!..

Среди прислуги катера выделялся седой старик с горбатыми лопатками, давно бритой щетиной на провалившихся губах и остром подбородке, в пестром наряде, в колпаке с бубенчиками, с пронизательным и замечательно умным, смеющимся взглядом блестящих, живых, бегающих, плутовских глазок, новопожалованный шут императора, привезенный Лопухиным, известный всей боярской Москве, Иванушка.

Едва император сошел с катера и вступил на мрамор пристани, на ковер-дорожку из искусно расположенных в сложный узор живых цветов, как стоявшие на ней дамы, вельможи, престарелая начальница Смольного, воспитательницы и строй воспитанниц в аллее преклонили колена.

Гармоничные, кристальные звуки понеслись с больших арф, из-под быстрых рук склонившихся над ними девушек, а все воспитанницы запели гимн в честь высоких гостей:

Вступи, царица, в дом приятный,
Царя-отца введи под кров,
Чрез луг тропею ароматной
Средь роз, цветущих без шипов.

Ты наш разум озарила!
Ты украсила наш нрав!
Всем искусствам научила,
Вместо матери нам став.
О, царица благодатна!
Сколь жизнь подданных приятна,
Где так царствуют цари!
Дев днесь благодарность зри.

О, Боже, зри
Мольбы сердечны —
С высот простри
Дни счастья вечны,
Укрой от зол,
Пролей отраду,
Царя, престол,
Прими в ограду
И нас храни —
Дай светлы дни...

Император, сняв шляпу, кланялся с улыбкой чрезвычайной благосклонности всему собранию. Мария Федоровна под звуки гимна приблизилась к престарелой начальнице, Софии Ивановне Делафон, склоненной в низком реверансе, подняла ее и, облобызав старуху, сказала, что искренне рада видеть в полном здравии почтенную и милую guten Mama, а всю семью ее — в вожаденном благополучии.

— Как я счастлива провести время в милом Смольном, — продолжала императрица, протягивая руки для поцелуев воспитательницам, — как я счастлива вновь поклониться мелюзге коричневой, приласкать малюток голубых, поцеловать серых сестер и обвиться руками вокруг шеи пилигримок белых, моих старых приятельниц!

Император предложил руку начальнице и повел ее по аллее, раскланиваясь с воспитанницами, восторженно бросавшими под ноги Павла Петровича цветы из корзин.

Императрица между тем похвалила игру арф, подошла к Екатерине Ивановне Нелидовой, с нежностью обняла ее талию и увлекла с собою. Но эта чрезвычайная милость не покорила отставную фаворитку. Она приняла ее с полным достоинством, хотя и с признательным смирением. Великие княгини, княжны, великие князья Александр и Константин, все вельможи, дамы, следуя примеру императрицы, вмешались в рой прелестных девушек-детей. Воспитанницы целовали руки, колени, платье императрицы, теснясь к ней, а маленькие с детской непосредственностью тянулись обнимать и целовать ее и великих княгинь в губы, так что им приходилось низко наклоняться к девочкам. Вельможи взяли под каждую руку по обнаженной ручке и сыпали утонченные комплименты. Молодой военный министр, граф Ливен, отыскал четырнадцатилетнюю прелестную невесту свою Дашеньку Бенкендорф — союз, опробованный и матерью его, и государем, и императрицей, — и девочка шла, гордая и алая от смущения. В белой колоннаде, на широкой террасе были поставлены столы. Там монастырки должны были

угощать высоких гостей полдником. Но еще на этих столах ничего не было. По обычаю, воспитанницы все должны были делать сами, без какой-либо помощи прислуги. От колоннады расстилались партером цветники, изумрудные луговины с широкими дорожками. Внизу били кастады по уступам горок из ноздреватого туфа. Здесь часть воспитанниц заняла разбившихся на группы гостей, показывая свои изделия.

Для императрицы и великих княгинь были принесены монастырские кресла. Они показывали свои рисунки, шитье, токарные изделия. Между тем другие принесли скатерти и покрыли столы в прохладной колоннаде, принесли в корзинах, в прорезном фарфоре, в разноцветных кувшинах, на золоченых и серебряных блюдах сочные, багровые и желтые, вкусные и спелые плоды, ягоды, холодные, сладкие напитки в хрустальных кувшинах с плавающими искрометными льдами, всевозможные печенья, торты, конфеты – все свои изделия. Накрыв полдник, монастырки повели за стол гостей. За каждым стулом стояло по девице с зелеными ветками березы, чтобы обмахивать от жары и июльских мух. Другие подавали напитки и яства. Старшие и особенно привлекательные воспитанницы в легких, как облака, подобранных в узлы разноцветными лентами платьях сановито и спокойно ходили вокруг гостей, подходя к каждому, с благородной улыбкой склонив отягченную локонами головку, милой, свободной поступью и потчевали. Между тем гостей услаждали концертом, танцами, пением, веселыми прыжками, играми «мелюзги коричневой».

VII ИЕЗУИТСКИЙ ШОКОЛАД

Полная непринужденность, казалось, была в этом обществе. Император полдничал как бы в семейном кругу. Синеватые тени наполняли белую колоннаду. Казалось, олимпийцы сошли на землю и пировали в рое прелестных девушек и детей. Императрица действительно походила на Афины-Пилладу, а великая княгиня Елизавета, в белом простеньком платье, с золотыми, рассыпающимися из-под повязки локонами напоминала Гебу. Великий князь Александр, в пурпуре, снявший теперь шлем, как Феб, юный и прекрасный, застенчиво принимал ухаживания монастырок, особенно неотступно толпившихся около него, угощая, поднося напитки, плоды, конфеты. Вельможи славного екатерининского века составляли каждый картину. Между тем цветники и луг перед колоннадой кипели жизнью. Среди цветов, сами похожие на розы и лилии, девушки вились гирляндой, изображая древнегреческие танцы, девушки-подростки, златовласые и чернокудрые малютки играли, оглашая сад визгом. А между тем напряженное внимание старших, императрицы, князей и княгинь, вельмож к малейшему слову, жесту, изменению лица императора не ослабевало ни на мгновение. Всякий ждал грома и бури из ясного неба, зная характер властителя. Всякий знал, что может и не вернуться сегодня домой, а через какой-нибудь час уже нестись на тележке с фельдъегерем в страны, отдаленнейшие от столицы. И если бы можно было заглянуть в сердца этих изящных, беспечных, обаятельно остроумных и любезных царедворцев, изумительная была бы противоположность сияющей светлости и угрюмого, холодного ужаса, замирающего страха и подозрительной внутренней тоски. Но самая эта противоположность с особою полнотою заставляла ощущать полножизненное мгновение. Скользя по краю черной бездны, ежеминутно готовой поглотить, смеялось, пело, дрожало всею прелестью бытия чудное мгновение. И каждый жил удесятеренной жизнью. И впивал истинную беззаботность ничего не ожидавших, ни о чем не ведавших, наивных, невинных, восторженных девушек-детей. Монастырский сад был как бы древним парадизом-садом сладости, куда еще не вошел черный грех, где не ведали страданий, темноты и скуки земной. А между тем самые сложные политические интриги, заговоры, комплоты разнообразно связывали гостей, самые черные, неукротимые страсти кипели в их груди.

Император веселился искренне. Общество монастырок всегда отгоняло от него мрачных демонов. Среди детей, которым он мог доверять, он сам становился ребенком. Истомленная многолетней подозрительностью, душа отдыхала, как бы расправляла крылья и вырывалась из темницы невыразимых терзаний расстроенного и потрясенного существа властителя. Мария Федоровна хорошо знала это действие Смольного на царственного супруга, но все же не могла быть совершенно уверенной в следующей минуте. Император говорил утонченнейшие любезности девицам, шутил и дурачился с необыкновенной грацией и чувством меры. Но порой им овладевал как бы припадок громкого, странного хохота. Он подмигивал сидевшему против него аббату Губеру, произносил непонятные фразы, потирал руки, переставлял стоявшие перед ним предметы и опять успокаивался; гримасничавшее лицо его озарялось лучистым взором прекраснейших больших глаз, и он становился изящен, как принц старого Версаля. Простодушные девушки, и особенно малютки, поминутно просовывавшие кудрявые головки свои под руки императора, который их отечески с нежностью гладил, смеялись этим выходкам Павла Петровича, думая, что он шалит. Но императрица, августейшие особы и царедворцы знали, что такие странные выходки хотя еще и не грозили опасностью, но часто являлись предвестием страшного состояния беспричинного неудержимого гнева.

Император с особой благосклонностью беседовал с аббатом Губером, вспоминая свое посещение Рима и Италии и покойного папу. Лукавый иезуит незаметно наводил императора на идею соединения церквей, распространяясь о неверии, развратившем век и бывшем причи-

ной столь ужасных потрясений и преступлений. Мальтийский орден, во главе которого становится русский император, повелитель миллионов, в то же время осенен благословением святейшего отца. Пусть же древнее разделение сменится любовью и через императора и папу все христиане Европы соединятся для отстаивания алтарей и престолов.

Император подмигнул аббату и захохотал.

– Иезуитский шоколад, – вдруг крикнул он и, обернувшись к императрице, крепко схватил ее за руку, пристально глядя в ее величаво-спокойное прекрасное лицо.

– Иезуитский шоколад! – с новым взрывом хохота повторил император.

– Его величество вспоминает, полагать должно, – сказала императрица, – тот особый шоколад, которым нас угощали отцы иезуиты при посещении нами коллегии в Вильне на обратном пути нашем; то был неподражаемый напиток!

– Именно, именно! – в совершенном восторге от догадливости супруги вскричал Павел Петрович, несколько раз с благодарностью пожимая ей руку. – Неподражаемый напиток! Какой аромат! И пена какая! Я нигде не пивал такого, и тщетно наши кафешенки с Кутайсовым пытались приготовить что-либо подобное.

– Если ваше величество прикажут, – скромно сказал аббат Губер, – то я могу приготовить даже сейчас настоящий шоколад отцов иезуитов.

– Аббат! – закричал император в восторге. – Ты умеешь готовить настоящий иезуитский шоколад? Римникский! – подмигнул он фельдмаршалу Суворову, сидевшему недалеко от Губера. – Обними аббата за меня. Мне далеко тянуться до него через стол.

Фельдмаршал Суворов, в свою очередь, подмигнул императору и, потирая руки, с ужимами выскочил из-за стола и обнял аббата, обхватив его руками сзади и крича:

– Виват, Лойола!

Император замахал руками и прыснул со смеху, увлекая и обступивших его девочек, тоже звонко рассмеявшихся.

– Если ваше величество прикажут... – сказал, с достоинством поднимаясь, аббат Губер.

– Вари, брат, ха, ха! Вари, вари! Ха! Ха! – хохотал император.

Все вельможи почли необходимым последовать примеру императора и тоже захохотали. Смех заразил монастырок и стал беззаботными серебристыми волнами перекатываться по саду.

И под этот смех аббат Губер, не теряя достоинства, но показывая, что понимает милую шутку, с пристойной духовной особе важностью отправился на монастырскую кухню варить шоколад.

Еще смех продолжал звенеть в группах резвившихся в цветниках девушек, а виновник его, совершенно успокоившись, завел беседу о живописи Рафаэля с королем Августом, поражая даже такого знатока, каким в Европе считался Понятовский, глубиной суждений. Аббат Губер возвратился через полчаса, с важностью неся на золоченом подносе серебряный шоколадник, из носика которого распространялся ароматический пар. За ним сама почтенная начальница, София Ивановна Делафон, несла подносик с двумя севрскими чудной работы чашками и горкой бришей. Она понимала всю значимость взятой на себя аббатом задачи попотчевать императора настоящим иезуитским шоколадом. Что, если император будет не удовлетворен и разгневается на хвастовство аббата? Что будет с ним? Еще хорошо, что он вышлет его на запад, а если на восток? И что станет с обширными планами, основания которым уже положены аббатом?

Но аббат нес свой шоколад с горделивой уверенностью.

– Сварил?! – крикнул Павел Петрович, опять раздражаясь смехом. – Давай, давай сюда! Посмотрим!

– Извольте попробовать, государь, – сказал аббат.

София Ивановна поставила поднос с чашками перед императором, аббат же с ловкостью опытного кафешенка высоко поднял шоколадник, тонкой струйкой напенил темную, ароматную жидкость в обе чашки.

– Извольте попробовать, – государь, повторил он, почтительно склоняя голову с тонзурой, прикрытой фиолетовой шапочкой.

– Постой, – сказал император серьезно, – выпей сначала сам чашечку.

– Если прикажете, государь...

Аббат взял чашечку и приложился к ней.

– До дна, аббат, до дна, – строго сказал император, пристально глядя в лицо иезуита.

Аббат выпил, обжигая губы и язык пламенной жидкостью, со стоическим терпением чашку до дна и низко поклонился императору.

Среди общего молчаливого внимания Павел Петрович поднес другую чашку к устам, отведал и тоже поклонился аббату.

– Господин аббат Губер, – торжественно сказал император, – ваш шоколад есть точно настоящий иезуитский шоколад. Marie, отведай! – обратился он к императрице, подавая чашку.

Государыня пригубила шоколад и поспешила сказать, что напиток превосходен и совершенно такой, каким их угощали виленские отцы.

– Господин аббат Губер, – повторил с прежней торжественностью низко кланявшемуся иезуиту император, – жалую вас мальтийским крестом и командорством, кроме того, имеете вы получить от трезорьера нашего шестьсот шестьдесят шесть душ и табакерку, бриллиантами украшенную, с портретом нашим, и впредь имеете доступ в кабинет наш во всякое время без особого доклада. Есмь вам благосклонным!

VIII ГОРЕЛКИ

Полдник кончился. Император, императрица и все августейшие и высокие гости сошли в цветники. Было уже пять часов, и дневной жар несколько спал. Напоенный благоуханием цветов воздух освежали брызги каскадов. Из аллей, боскетов, куртин и рощиц обширного парка веяло тенью и свежестью. Вельможи окружили сияющего аббата Губера, поздравляли с монаршей милостью и умоляли сообщить им секрет варки иезуитского шоколада.

– О, это совсем просто, господа, совсем просто! – уклоняясь, с любезностью отвечал лукавый иезуит.

Тень опасения и недовольства легла на лица некоторых из французских роялистов. Принц Конде, видимо, был расстроен, но это не помешало ему взять аббата под руку и, прогуливаясь, развить перед ним идеи спасения алтарей и престолов единением всех людей доброй воли, преданных богоучрежденным порядкам. Будучи недалеко от императора, принц громко сказал:

– *La cause du roi de France est celle de tous les rois!* (Дело французского короля есть дело всех королей!)

Но император не обратил внимания на фразу принца. Он направился к тесной группе монастырок. Они окружили придворного шута Иванушку. Шут гремел бубенчиками. Звонкий девичий смех сопровождал остроумные ответы шута на обычный вопрос: «Что от кого родится?»

Иванушка был бритый, плешистый, маленький старичок; узкие глазки его сверкали замечательным умом.

Павел Петрович приблизился. Цветник смеющихся монастырок расступился. Вельможи следовали за государем. Под приятными улыбками у врагов лопухинской партии скрывалась уже зародившаяся ненависть к злему и остроумному лопухинскому шуту, знавшему слабости и причуды каждого и всю скандальную хронику двора и обеих столиц. Милость к Лопухиной озаряла всех, с ней связанных, даже шута Иванушку. Придворная челядь завидовала быстрой карьере старикашки. Вельможи видели в нем лопухинского шпиона. Сторонники Лопухиных, наоборот, сладко, заигрывая хихикали, подмигивая приятельски дураку.

– Господа, – обратился император к окружавшим его, – не пренебрегайте Иванушкой. В доброе старое время голова под колпаком с бубенчиками нередко видела дальше головы, осененной венцом!

– Что от меня родится, Иванушка? – желая угодить монарху, спросил и «бриллиантовый» князь Куракин.

– От тебя: обеды, ужины, бутылки, рюмки, браслеты, запонки, манжеты, табакерки, корсеты, подвязки! – отвечал шут.

Император и все вельможи улыбались. И Куракин снисходительной миной старался скрыть досаду.

– А что от меня родится, шут? – спросил фельдмаршал Суворов.

– Правда, честь, походы, победы, слава, слава, слава! – отвечал шут и, сняв колпак с бубенчиками, подбросил его и подхватил неловко опять на свою острую, плешистую голову.

– А еще что? – сказал Павел Петрович.

– Ревность, женины дразги, салоны, туфли, рога, рожки!

– Лови! – крикнул Суворов, бросая шуту червонец.

Все знали нелады и ревность великого полководца к жене, ему изменявшей, несколько раз уже затевавшего с ней развод и вновь мирившегося.

– А от меня? – сказал король Август Понятовский.

– Старое венгерское, векселя, польские фляки, подагра, паутина!
– Дерзкий шут! – покраснев и надувшись, сказал развенчанный король и отошел.
Государь потирал руки от удовольствия. Вельможи улыбались.
– Ну а вот от этого? – спросил государь, указывая на поэта и сенатора Державина.
– Оды, лесть, ябеды, кляузы, рифмы, стопы, реестры, мемории, тропы, фигуры, наказы, указы, синекдохи, гиперболы, архивная моль!
– Что от меня родится, Иванушка? – спросила хорошенькая белокурая монастырка с родинкой на щеке.
– Капризы, стрекозы, лилии, розаны, леденчики, пастила, тряпки, башмаки, бантики!
– А от меня? – спросила другая смуглянка с огненными глазами.
– Яд, ревность, кинжалы, змеи, драконы, черные маски, червонцы!
– А от меня, Иванушка? – спросила полная, высокая девица.
– Варенье, соленье, печенье, пряженье, четырнадцать котят!
– Ну, Иван, теперь и мне скажи, что от меня родится? – сказал, наконец, и государь.
Все с интересом ожидали ответа шута. А он сморщился, подперши одной рукой голову, а другой растирая под ложечкой.
– Ой! Ой! Живот болит! – взвыл, наконец, шут.
– Говори! Говори, брат! – требовал император. – Назвался груздем – полезай в кузов.
Шут повесил на сторону голову и плачевным тоном забормотал:
– От тебя, государь, родятся: чины, кресты, ленты, вотчины, сибирки, палки, каторги, кнуты!

Услышав такой дерзкий ответ государю, придворные помертвели от ужаса, ожидая грозы, в то же время одни радуясь, другие горюя, что вызвал ее именно шут временщика Лопухина и его дочери. И гроза уже приближалась. Император стал пыхтеть, отдуваться, откидывать голову назад, лицо его потемнело и перекошилось судорогой... Еще мгновение и страшный припадок слепого гнева уничтожил бы смелого шута да и тех, может быть, кто подвернулся бы при этом. Но, к счастью, четырнадцатилетняя прелестная Дашенька Бенкендорф и несколько других монастырок подошли к государю и с низким реверансом просили его пожаловать на луг, посмотреть игру в горелки. Мгновенно настроение императора изменилось. Он расцвел улыбкой и, предложив руку Дашеньке, пошел на обширный луг, где уже игра была в полном разгаре и монастырки, со звонкими криками и смехом, неслись, словно античные нимфы, ловя друг друга.

Император пожелал принять участие в игре с некоторыми особами. По жребии гореть пришлось фельдмаршалу Суворову. В паре за ним стали Понятовский и принц Конде. Далее стал государь и Дашенька Бенкендорф¹. В третьей паре были граф Ливен и поэт Державин. Становясь в пару, Державин с улыбкой прочитал начало одной из своих од:

На скользком ипподроме света
Все люди – бегатели суть.

По данному знаку, Понятовский и Конде побежали, настигаемые Суворовым.

– Тот, кто взял Варшаву, неужели не пленит польского короля! – сказал император.

Но Понятовского нечего было и ловить. С изрядным брюшком, с подагрой в ногах, он семенил, виляя из стороны в сторону и испуская легкие вскрики: «Ах! Ах!»

¹ В своих записках Д.Х. Ливен рассказывает, что Павел I «нередко наезжал» в Смольный; «его забавляли игрою маленьких девочек, и он охотно сам даже принимал в них участие». Ливен вспоминает, что играла в жмурки с императором, Понятовским, Конде и Суворовым. Допустимо, что играли и в горелки. (Примеч. автора.)

Суворов с самыми потешными ужимками стал гоняться за ним, подражая жестам старой птичницы, ловящей квохчущую курицу. Он делал вид, что не может поймать Августа. Сцена была так комична, что общий смех распространился на лугу. Игра в других горелках остановилась. Все смотрели на покорителя Варшавы, Суворова, ловящего последнего развенчанного польского короля. Принц Конде остановился и тоже с улыбкой наблюдал суету. Вдруг фельдмаршал, как барс, сделал огромный, достойный лучшего гимнаста прыжок в сторону принца Конде. Увертливый француз успел, однако, отскочить и помчался от Суворова. Но тот не отставал и наседавал по пятам француза.

– Ату его, ату! – закричал, хлопая в ладоши, государь. – Русак ли не подобьет француза.

– Ахиллес преследует Гектора, – заметил поэт Державин.

Между тем король Станислав-Август возвращался, задыхаясь, охая и прихрамывая. Императрица приняла живейшее участие в его печальном положении, велела принести для короля кресло и какого-нибудь прохладительного напитка. Монастырки побежали, но вместо кресла притащили несколько диванных подушек. Короля усадили на зыбкое седалище. Принесен был малиновый, пенистый квас и девицы поили старого короля, отирали платочками пот с чела его и обмахивали веерами. Король сыпал комплиментами, восхищаясь прелестными проказницами.

Между тем бег Суворова и принца Конде продолжался. Как ни ловок был француз, но фельдмаршал настиг его и с торжеством повел пленника.

– Быть пленником великого Суворова почетно! – любезно сказал Конде, подойдя к императору.

– Виват, Конде! – закричал фельдмаршал, махая шляпой.

– Виват, Суворов! – отвечали государь и принц Конде.

Принц должен был гореть.

Теперь из-за его спины прянули, как две стрелы из тугого лука, Дашенька Бенкендорф и Павел Петрович.

Дашенька неслась, как пушинка, гонимая ветром. Император, звонко поражая землю ногами, бежал с изумительным искусством. Казалось, упругий мячик, подскакивая на неровностях, катится по лугу.

Император Павел Петрович был одним из лучших наездников своего времени, с раннего возраста отличался на каруселях и артистически изучил все роды физических игр. Поймать такого ристателя было нелегко. Пренебрегая девочкой, принц все усилия употребил пленить государя, настигал его несколько раз, но тот уносился и ускользал в сторону и, наконец, подал руку подбежавшей раскрасневшейся Дашеньке.

Принц Конде отвешивал низкие реверансы императору, а все бывшие на лугу аплодисментами и восторженными криками приветствовали доблестного ристателя. Императрица попросила принести две сосновые веточки и увенчала державного супруга, переплетя их с цветами, на символическом языке выразившими победу, верность, сердечное восхищение и семейное благополучие.

IX ПОСЛЕДНИЙ МЕНУЭТ

Жаркий день клонился к закату. Оживление в счастливых монастырских садах еще увеличилось, так как ожидали танцев и прибыли кавалеры – гвардейская молодежь и воспитанники шляхетского корпуса. Составлялись пары. Завязывались и продолжались романы под тенистыми, старыми, пахнувшими сладко медом, в полном цвету, липами, в уединенных, зеленых боскетах, аллеях и среди цветущих куртин. Взгляды, неуловимые рукопожатия заставляли шибко, шибко биться не одно сердечко.

Между тем уже золотые стрелы Феба, как выразился на риторическом языке поэт Державин, скользили, прядая по глубинам волнуемой потянувшим свежим ветерком Невы. Уже вечер набрасывал туманную дымку и потемнял села Охтенского берега, в то время как окна палат на островах пламенели.

Император подал руку начальнице г-же Делафон и открыл шествие в белый мраморный зал монастыря. Придворный оркестр встретил бесконечной лентой двинувшиеся из садов пары торжественными звуками.

Пламя заката, врываясь в огромные окна залы и в верхние круглые окошки, странно мешалось с бледными огнями сотен восковых свечей в люстрах и стенных канделябрах. При таком смешении искусственного света с закатным все краски менялись, лиловато-пепельные тени двоились, все принимало странный, призрачный вид. Прелестные, оживленные личики девиц попадали то в пучок лучей, бросаемых огнями, отраженными тысячекратно в венецианских огромных простеночных зеркалах, то в столбы небесного зарева, разгоравшегося за окнами. Разнообразные цвета мундиров у кавалеров, особенно мальтийский пурпур, составляли необыкновенные сочетания и красочные пятна. Пары обходили кругом залу, у стройных коринфских колонн, со статуями богов и героев в промежутках, и потом строились в две линии с широким проходом посередине. Овальной формы куполообразный потолок украшен был цветочными гирляндами, которые держали извивающиеся хороводом нимфы, между тем как посередине, окруженный богами и богинями, сам Аполлон играл на лире, на облачных холмах Парнаса. Чудная живопись плафона, казалось, была оживлена и одухотворена. Пламенное вечернее небо за громадными окнами залы в два света над стройными купами деревьев сада ежеминутно изменялось. А вместе с тем менялись и передвигались краски, лучи, тени, отражения в зале и на живописном плафоне.

Император сказал двадцатилетнему поручику конной гвардии Николаю Алексадровичу Саблукову, отмеченному им за неподкупное благородство:

– Пригласи Екатерину Ивановну!

– Слушаю, государь, – отвечал Саблуков, – на какой танец прикажете?

– *Mon cher*, – сказал Павел Петрович, – *faites danser quelque chose de joli!*

«Что можно протанцевать красивого, кроме гавота или менуэта», – подумал Саблуков, подходя к Нелидовой.

Самый старомодно-изящный наряд ее возбуждал мысль об этих утонченных танцах цветущей поры Версаля и екатерининского Эрмитажа.

Пригласив Екатерину Ивановну с низкими реверансами, Саблуков побежал предупредить оркестр, в первой скрипке которого находился сам знаменитый Диц.

И вот раздалась вступительные звуки менуэта и Нелидова с Саблуковым начали танец под пристальными взорами императора и сотен внимательных глаз. Все было неподвижно в зале. Танцевала только эта пара. Нелидова знала, что это последний танец ее пред окончательным удалением от света и двора. В странном смешении алого заката и бесчисленных искусственных огней, в тоскующий час прощанья отходящего дня с пышущей зноем цветущей

щей землей, в последний раз в поле зрения монарха платонического любовника ее, танцевала маленькая фаворитка в старомодном наряде, изящная, как фарфоровая маркиза, под изящные старомодные звуки. Казалось, она в это мгновение воплощала все прошлое века Фридриха, последних Людовиков, Екатерины. Принц Конде, граф Шуазель и другие французские эмигранты с невольным умилением и трепетом сердца внимали звукам прекрасного танца и любовались танцорами. Нелидова превзошла себя, и все, что было пленительного в старой жизни, воплотилось в ее танце.

Что за грацию выказала она, как прелестно выделявала «pas» и повороты, какая плавность была во всех движениях прелестной крошки, несмотря на ее высокие каблуки!

И старые екатерининские вельможи, улыбаясь, сочувственно покачивали головами, вспоминая былое.

– Точь-в-точь знаменитая балерина Сантини, бывшая ее учительница! – говорили они.

И Саблуков не позабыл уроков Джузеппе Канциони, балетмейстера и танцора эрмитажного театра при Екатерине. И при его «Гатчинском» кафтане à la Frédéric le Grand, оба точь-в-точь имели вид двух старых портретов, вышедших из рам.

Но это-то и восхищало императора Павла Петровича, идеалом которого были Версаль и Сан-Суси. В полном восторге, с разнообразными движениями, следя за танцами Нелидовой и Саблукова, во все время менуэта он поощрял их восклицаниями:

– C'est charmant! C'est superbe! C'est délicieux!

И со свойственной ему, неистощимой энциклопедичностью самых разнообразных сведений Павел Петрович стал рассказывать близстоящим вельможам историю менуэта, из сельского танца крестьян в Пуату превращенного в танец королей Версаля, самого Короля-Солнца!

– Это Пекур, господа, – объяснял Павел Петрович, – знаменитый оперный актер придал менуэту всю ту грацию, которой этот танец ныне отличается, переменив форму «эс» (S), которая была главной фигурой танца, на форму «зет» (Z).

Император сам то становился в позицию S, то в позицию Z, искусно показывая разницу.

Оркестр играл знаменитый менуэт d'Exaudet и Павел Петрович сиповатым своим голосом стал подпевать слова:

Cet étang
Qui s'éteng
Dans la plaine.
Répète au sein de ses eaux
Les verdoyants armeaux,
Où le lampre s'enchaîne
Un ciel pur.
Un azur
Sans nuage,
Vivement s'y réfléchit,
Le tableaux s'enrichit
D'ima-a-a-age.²

Император сделал низкий реверанс на последнем слове вельможам, которые, расплываясь в улыбках, подхватили нестройными, старческими голосами припев, случайно имевший как бы прямое указание на опасность постоянной перемены настроения властелина.

² Этот пруд, который ширится в долине, повторяет в лоне своих вод зеленеющие шипы, оцепленные виноградными лозами. Чистое небо, лазурь безоблачная там живо отражаются, обогащая картину изображения.

Mais, tandis que l'on admire
Cette onde ou le ciel se mire.
Un zéphyr
Vient ternir,
Sa surface
D'un souffle il confond les traits.
L'éclat de tant d'objets
S'effa-a-a-ce.³

К старым голосам вельмож присоединились молодые – прелестных монастырок, – и следующую строфу за императором напевала, улыбаясь, вся зала:

Un désir
Un soupir,
O, ma tille.
Peut aussi troublez un coeur
Où se peiut la candeur?
Où la sagesse brille
Le repos.
Sur ces eaux,
Peut renaître;
Mais il se perd sans retour
Dans un coeur dont l'amour
Est mai-ai-aitre...⁴

Вся зала разнообразно присела в глубоком реверансе вместе с императором.

И выражение лица и замечания императора передавались придворным, и они восторгались, в то время тайно предаваясь разнообразным чувствам: одни – опасениям, другие – надеждам. Восхищение императора не может ли стать возвращением фавора? Тем более что, казалось бы, Нелидовой, если платонизм отношений ее к государю не выдуман, нечего и делить с новой фавориткой... Так думали, конечно, те, кто не знал характера Екатерины Ивановны.

Сторонники Лопухиной, как сенсуалисты, не переставали питать уверенность, что двадцать лет всегда возьмут верх над сорока годами. Однако они не могли не отдать должного маленькой фаворитке. Нельзя было заметить лет в оживленном огне вдохновения личике ее и в движениях стройного, маленького тела. Она влекла к быстрым ножкам своим восхищение зрителей. Что же, если мгновенная прихоть причудливого властелина опять переменит положение шахмат и сложившиеся уже сочетания придворных партий!.. Менуэт принимал неожиданно политическое, даже европейское значение...

Императрица сияла, обрадованная успехом Екатерины Ивановны, так как фавор ее не отнимал Павла Петровича у семьи. Граф Кутайсов и граф Ростопчин с трудом скрывали неудовольствие.

Невольно взоры всех с танцующей пары переходили на новую фаворитку, ее отца и мачеху. Но князь Лопухин, казалось, не замечал происходящего, беседовал со своими старыми друзьями, Гагариным и Долгоруковым, которых он с семьями побудил переселиться из Москвы в дома, стоявшие рядом с его, на набережной. Княжна Анна Петровна в белом

³ Но в то время, когда удивляются этой волне, в которую глядится небо, зефир летит и омрачает ее поверхность. Единным дыханием он смешивает черты и блеск стольких предметов и исчезает.

⁴ Желание, вздох, о моя дочь, может также взволновать сердце, где начертана скромность, где блистает мудрость. Спокойствие на этих одах может возродиться; но оно безвозвратно теряется в сердце, в котором любовь стала господином.

воздушном хитоне стояла у пьедестала статуи какого-то античного героя, остановив рассеянно-задумчивый взгляд глубоких, выразительных глаз на изменчивой картине вечернего неба в противоположном окне. Возле нее рассыпался с французскою живостью в болтовне конногвардеец, шестнадцатилетний хорошенький мальчик, граф Александр Иванович Рибопьер. Красота Лопухиной носила кроткий, меланхолический характер. Выросшая в Москве, чуждая двору и свету в эту минуту Анна Петровна была далеко от великолепной залы. Вспоминались ей родные липы московской усадьбы, игры детства и товарищ этих игр бывший в эту минуту далеко при армии, начинавшей свой марш по Европе.

X ПЕРВЫЙ ВАЛЬС

Император выразил Екатерине Ивановне восхищение, когда танец был окончен. Затем он сказал несколько слов графу Кутайсову, который с довольным видом направился к оркестру, а потом подошел к графу Рибопьеру и что-то ему передал.

Рибопьер сейчас же с глубоким поклоном пригласил княжну Анну Петровну Лопухину на ее любимый танец – вальс.

Шепот легким шелестом пробежал по рядам придворных. Теперь опять настроение переменялось. Те, кто было уныли, – просияли, другим стало понятно, что всегда рыцарственный в отношении женщин император Павел хотел выказать тонкую учтивость к отставной фаворитке, но не более. Дамы были взволнованы. В первый раз в присутствии августейших особ должен был исполняться модный танец. Этим окончательно снимался запрет с вальса, что составляло само по себе событие большой важности.

Диц повел по струнам волшебным смычком своим и запел сладко и воздушно льющуюся мелодию, постепенно вступали прочие инструменты, и мелодия росла, усложнялась, вновь слабела и вновь гремела, и упоительное кружение звуков подняло и покорило все сердца.

Уже полный вечер стоял в садах, и небеса гасли и белели с каждым мгновением. Золотой полоской блеснули вершины деревьев, блеск сошел с них, и сады погрузились в тень. В огромные открытые окна теплые волны душистого воздуха почти не вливали освежения. Но звезды не проступали на небе. Белая, северная, болезненно-загадочная ночь ложилась на стогна столы, молочным морем окутывая Смольный и удвояясь в беломраморном зале. Еще страннее теперь сияли огни бесчисленных свеч. Они придавали какой-то мертвенный оттенок лицам. Старческие черты проваливались синеватыми пятнами теней и казались ослабленными черепами. Но и молодые цветущие лица поблекли и призрачно изменились. Чудесно изменилась и княжна Лопухина, но изменилась к лучшему. Ее матовая бледность стала сверкающей белизной слоновой кости. Подхваченная ловким кавалером, она понеслась по окружности зала в свободном его пространстве, и ее черные кудри развевались как змеи, ее черные печальные глаза стали бездонно глубоки, она вся была страсть и упоение и, казалось, упав на руки юноши, переносилась волшебной силой вдохновения.

Смычок Дица то рыдал, то замирал упоительно, то молил, то грозил, то смеялся, и в растущей мелодии появлялось что-то сатанинское. И тогда казалось, что это не девушка танцует, а чародейка в ночные часы совершает чарования, носясь волшебными кругами.

– Да, это не менуэт! – шептали пораженные и плененные зрители.

Новая сила, новая власть, новая жизнь входили с этими звуками, с этим танцем, и как наивны теперь казались поклоны и грациозные повороты и все ухищрения старого танца, последнего менуэта отходящего прошлого!..

Екатерина Ивановна Нелидова вздрогнула при первых звуках ненавистного ей вальса и затем уже не могла отвести глаз от соперницы. Сначала ей все казалось только неприличным и безобразным в этом грубом мещанском танце: и близость кавалера к даме, дерзко обнимающего ее талию, и эти сплетшиеся их руки, и однообразные па и повороты. На что тут было смотреть? Чем любоваться? Где искусство? Пристойно ли исполнить перед очами императора низкую пляску грубых немецких ярмарок и базаров! Все чувства ее были оскорблены.

– *Quelle bassesse! Quelle bassesse!* – шептала она с горечью.

И что сделалось с Дицем? Что такое он играет? Краска залила под румянами щеки маленькой фаворитки. Звуки скрипки первого скрипача его величества казались ей крайне неприличными, даже дерзкими. С живостью перевела она взгляд с танцующей пары на императора. К величайшему своему удовлетворению, она заметила, что император, во всяком случае,

доволен не был. В самом деле, при первых звуках вальса, при первых кружениях пары император Павел Петрович характерным жестом вздернул голову и лицо его выразило удивление и почти неудовольствие. Но, увы! Это было недолго! Вдруг ноздри его стали раздуваться, глаза засверкали насмешливым огнем, щеки втянулись и губы искривила гримаса, он стал потирать руки, переступать с ноги на ногу и, поворачиваясь в разные стороны, подмигивать окружающим придворным. Те, в свою очередь, подхватывали и повторяли ужимки императора, как верное зеркало, и скоро зала представляла интересную сцену многих вельмож и генералов, в допотопных мундирах, с буклями и косичками, подпрыгивающих, потирая руки, и так резко помахивающих головами, что косички летали в разные стороны. Екатерина Ивановна отлично знала и ненавидела это странное, почти шутовское состояние Павла Петровича, этот полукрасивый, полуприторный насмешливый восторг. В эти минуты сказывалась в нем, быть может, кровь его отца, Петра Третьего, в таком виде, с трубкой в зубах и со стаканом пунша в руке выходившего на балкон, кобенившегося и кривлявшегося там на соблазн народу, как паяц в ярмарочном балагане.

– *Quelle bassesse! Quelle bassesse!* – с горечью повторяла Екатерина Ивановна.

Но скоро звуки и кружение ненавистной соперницы стали внушать ей чувство гнетущей тоски и ужаса. Прыжки и повороты императора становились все резче, все нелепее, а вслед за ними и повторявших их придворных, отлично знавших, что нельзя было больше угодить императору, как делая вид, что совершенно понимаешь все его жесты и непостижимые восклицания. Звуки скрипки Дица принимали все более томительно-страстный, волшебного-заклинающий характер, одуряющая власть кружения охватывала Нелидову, всю свою ненависть соединившую на кружившейся в прозрачном белом хитоне со змеями – черными кудрями – дьяволице.

Голова старой фрейлины стала кружиться. Ей было душно, тошно. И вдруг ужасный, с детских дней мучивший ее сон наяву представился ей. Представился ей глубокий, крутящийся черный омут стремительной реки, осененный старыми, мрачными мшистыми деревьями, и над ним безумная, хохочущая и рыдающая девушка, а из омута тянется и простирает к ней руки полурыба-полуженщина и манит к себе. Омут вращается и затягивает, и в пучинах его страшные, уродливые существа движутся и скалят зубы... С ужасом отшатнулась Екатерина Ивановна от омута и, может быть, упала бы, если бы ее незаметно для других не поддержали дружественные руки престарелой принцессы Тарант.

– Дорогая, вам дурно! – шептала она. – Обопритесь на мою руку! Выйдемте из душного многолюдства в сад... Вы освежитесь!

И принцесса, одной рукой поддерживая трясущуюся челюсть, а другой ослабевшую Екатерину Ивановну, проскользнула к выходу и вывела ее в сумрачную колоннаду, а оттуда в цветники.

XI ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОГУЛКА

Никто не заметил удаления из зала Екатерины Ивановны, так все были увлечены зрелищем первого вальса в высочайшем присутствии. Но это не укрылось от острого взгляда императора Павла Петровича.

Он вдруг прекратил свои чудаческие жесты. Тонкая улыбка понимания появилась у него на губах. Взгляд стал прекрасен, задумчив и мягок.

Он выразил желание, чтобы танцы продолжались, и, подойдя к княжне Лопухиной и Рибопьеру, при приближении императора искусно закончивших тур и обменивающихся взаимными глубокими реверансами, милостиво выразил похвалу искусству танцоров:

– Танец сей не весьма приличен, – заметил, однако, Павел Петрович, – и довольно волен. Но ты, Рибопьер, не выходишь из границ благопристойности, а княжна все обращает в прелесть, до чего коснется, – с любезнейшей улыбкой говорил император.

Княжна Лопухина низко присела.

Император отвечал классическим версальским поклоном. На лицах всех присутствующих изобразилось восхищение.

– Да, ты отлично танцевал, – продолжал Павел, кладя руку на плечо Рибопьера, который стал, повернув голову, целовать эту монаршую руку, как руку любовницы. Мальчик отлично знал, чем рисковал, пустившись вальсировать с фавориткой императора, хотя и по его желанию. Внешне сияя радостью, в юношеском, но искушенном с детских лет придворной жизнью еще при покойной монархии сердце он испытывал во время беспечного порхания своего по огромной зале смертный холод крайней опасности. Теперь он отдохнул и от восторга не знал, где находится – на земле или на небе.

– Танцуй, братец, всегда с княжной вальс! – продолжал император. – Доколе очам ее угоден. Только, пожалуйста, не по этой новейшей моде, ухватя за стан обеими руками, причем дама кладет руки на плечи кавалеру и оба смотрят друг другу в глаза. Это, братец, непристойно, скверно! Чтоб этого вообще не допускалось на балах! – сказал он, поворачиваясь к графу Кутайсову, незаметно очутившемуся в сфере зрения государя. – Составь в этом смысле приказ и представь завтра к подписанию нашему!

И дав жестом знак продолжать танцы, император направился к выходу в сад. Там он увидел графа Ростопчина.

– Пойдем, Ростопчин, – сказал он графу, – погуляем по саду инкогнито!

Все знали, что это значит: с этой минуты не должно было узнавать государя и намеренно встречаться с ним. Император, сопровождаемый графом, вышел в цветник. Взор его блуждал, кого-то отыскивая.

Заметив вдали на мраморной скамейке Екатерину Ивановну, которой принцесса Тарант давала нюхать флакон с солями и мочила ей виски «водой венгерского короля», император велел графу дожидаться в цветнике, а сам направился туда *privato mente*.

Екатерина Ивановна уже совершенно оправилась, и, когда император подошел к ней, с достоинством поднялась ему навстречу.

– Я заметил, – сказал с чарующей ласковостью Павел Петрович, – мгновенный недуг ваш, конечно приключившийся от духоты многолюдства, и удаление ваше. Не угодно ли будет вам освежиться в сей тенистой и прохладной перспективе, – предложил император руку фрейлине. – А вас принцесса – сказал он принцессе Тарант, прошу следовать за нами на приличном расстоянии.

Принцесса отвечала глубочайшим реверансом, опустив скромно глаза, с выражением понимания возлагаемой на нее обязанности. Екатерина Ивановна оперлась на руку государя и

он повел ее в длинную, крытую аллею, завитую сплошь диким виноградом и каприфолью, так что в ней было совершенно сумрачно даже в эту белую ночь. У входа в аллею император обернулся и глазами дал знак графу Ростопчину, прогуливавшемуся в отдалении что надо встать у входа аллеи на карауле.

Принцесса Тарант дождалась, когда пара скрылась в глубине аллеи, и потом двинулась сама, переживая вновь сцену былого версальских садов королевской придворной жизни, с благородной осанкой дуэньи августейшего свидания и с трепетом наслаждения от нахлынувших воспоминаний. Придерживая одной рукой высокие воланы старинного наряда, а другой – трясущуюся челюсть, переступая на высоких каблучках старческой, колеблющейся походкой, углубилась она в сквозные тени таинственного хода.

Пустынные сады, окутанные молочным сумраком северной ночи, молчали, курясь ароматом спящих цветов. Призрачно мелькали статуи на лужайках. Из сиявшего здания Смольного лились нежные звуки.

Едва старая принцесса исчезла в аллее, граф Ростопчин, нахмуренный, встревоженный, злой, саркастически кривя губы, встал на часах у ее входа, пробормотав любимую поговорку: – Без дела и без скуки стою, сложивши руки!..

Принадлежа к партии Кутайсова и Лопухиных, он испытывал весьма понятное беспокойство. Что могла принести эта таинственная прогулка в крытой аллее Павла Петровича с экс-фавориткой? Предугадать было нелегко.

XII

СЧАСТЬЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

– Екатерина Ивановна, – сказал Павел Петрович Нелидовой, когда они вступили в сумрачный ход под зыбким сводом листвы, – ваши чувства мне понятны. Они прямо благородны, это мне известно. Но я не вижу причины вашего удаления от двора. Скажите!

– Государь, – отвечала маленькая фаворитка, – пребывание мое при дворе теперь излишне. Высокая честь делить досуги государыни для меня сопряжена с опасностями. Могли ли не заметить перемены в расположении нашего общего друга, всегда бывшего единой нашей мыслью, единой заботой! Ах, та прекрасная цель, к которой мы обе всегда стремились, удалась от нас на расстояние недостижимое!

– Значит, была цель? – переспросил император. – Цель была одна.

– Какая?

– Счастье Павла!

– Счастье Павла!.. – с горечью повторил император. – Где оно? Павел родился для несчастья. Оно недостижимо для него. И если оно когда-либо ему улыбалось, то невозвратно.

– Наши дружеские заговоры направлены были к тому, чтобы возвратить его Павлу.

– Заговор, хотя бы и дружеский, все же – заговор. Испорченная природа человека в самом добре себя проявляет, – сказал грустно Павел Петрович.

– О, государь! В этих подозрениях ваших, в их возможности, не лучшее ли доказательство того, что время удаления моего и навсегда пришло? – с огорчением сказала Нелидова.

– Павел родился для несчастья, – повторил император. – Это показано и в гороскопе, составленном знатнейшими математиками для меня. Несчастный правнук великого прадеда, я взошел на оскверненный и окровавленный трон. И я несчастен, и друзья мои сострадают со мною. Тяжелое влияние недоброй планеты тяготеет на мне. Прадед мой... Кажется, я его вижу! – загадочно сказал император, устремив взор в глубину аллеи, где белый сумрак северной ночи сгустился.

– Все страждущие имеют право на мое сочувствие, – сказала Нелидова. – Но когда страдает Павел, с ним страдает Россия и вся Европа. Как же высок жребий облегчать это страдание! Вот что единственно я имела в виду, приближаясь к трону.

– Благородный друг мой, люди не понимают благородства. По подлости чувств и намерений своих они и о других заключают. С людьми следует обращаться, как с собаками, но они хуже собак. Так и наши отношения в их глазах приняли значение низменной связи.

– Разве я когда-либо смотрела на вас, как на мужчину? – вскричала Нелидова. – Клянусь вам, что я не замечала этого с того времени, как к вам привязана. Мне казалось, что вы – моя сестра!

– Души не имеют пола, – сочувственно отозвался Павел.

– Я не становилась между императором и супругой его! – горячо продолжала фаворитка, волнуясь. – Я искала одного титула – титула друга императора Павла и друга страждущих. Я познала великую, прекрасную душу Павла сквозь туманы злых снов его и тучи мрачных подозрений. Я нашла к душе его дорогу и хотела всем показывать путь к ней! Вспомните всю мою жизнь: не была ли она исключительно посвящена тому, чтобы любить вас и заставлять других вас любить? Вспомните, что по вступлении вашем на трон я искала только одного: остаться покойной и быть забытой в своем мирном уединении. Где найдете вы доказательства или даже проявления моих честолобивых чувств и расчетов?

– Чего же вы хотите от меня, друг мой? – спросил Павел.

– Честный Бугсгевден с супругой удаляются в замок Лоде, – сказала Нелидова. – Не пользуйтесь, государь, своей властью для того, чтобы воспрепятствовать мне последовать за моей добродетельной подругой в ссылку, куда вы ее отправляете!

Император принял руку, на которую опиралась Нелидова, и, отступив, сделал ей почтительный поклон. Екатерина Ивановна отвечала глубоким реверансом. В глубине аллеи показалась принцесса Тарант. Император сделал ей знак приблизиться.

– Mademoiselle утомлена и желает удалиться к себе, – сказал он. – Прошу вас сопроводить ее!

И, повернувшись, Павел Петрович быстро пошел назад по аллее.

Ростопчин, карауля у входа в нее, с нетерпением ожидал развязки свидания, когда император появился, двигаясь большими шагами. В сумраке белой ночи нахмуренное лицо его приняло странный, мертвенный цвет. Подойдя к Ростопчину, он остановился и произнес торжественно:

– Граф Ростопчин, заметь, что скажу сейчас. Свет судит по себе и собственной подлостью чернит чужие характеры. И я видел, как злоба выставляла себя и хотела дать ложные толкования связи, исключительно дружеской, возникшей между Нелидовой и мною! Относительно этой связи клянусь тем Судилищем, перед которым мы все должны явиться, что предстанем перед ним с совестью, свободною от всякого упрека, как за себя, так и за других. Зачем я не могу засвидетельствовать этого ценой своей крови! Клянусь еще раз всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому Бог!

XIII СЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ ВЕСТЫ

Когда император возвратился в залу, где шли одушевленные танцы, начальник Смольного господа Делафон почтительнейше просила разрешения воспитанницам преподнести царственной имениннице заготовленный сюрприз.

Император разрешил, и вслед за тем открылось шествие под звуки оркестра роговой музыки в монастырские сады. Роговая музыка была скрыта в куртинах, и нежная гармония, казалось, сама рождалась в бледных сумраках благовонной ночи.

По спутанным тропам между пригорками, лужайками, цветущими кустами, вереница пар двинулась к кедровой роще. Император вел императрицу впереди шествия.

В кедровой роще открылся перед царственной четой сверкающий огнями храм Весты. Сквозная круглая колоннада была увита гирляндами цветов. Между столбами реяли на незримых подвесках разноцветные кристальные лампы с огнями внутри. Посередине храма на пьедестале высилось скульптурное изображение в образе Весты самой Марии Федоровны. Перед ним на треножнике курился ароматический дым.

Вдруг из-за темных могучих кедров вышел сонм девиц в белых хитонах. Головы их были покрыты прозрачными фатами. В руках они держали цветы. Обойдя вокруг жертвенника и павши на колени перед статуей богини, они запели под аккомпанемент арф:

О, счастливым земнородным
Благостна, прекрасна мать!
Если взором благосклонным
Соизволишь презирать
Дев, тобою воскормленных,
И прошенью внемлешь их:
То внуши молитв усердных
Глас воспитанниц твоих
И даруй, да под покровом
Матерней руки твоей,
Благонравья в блеске новом,
Непорочности стезей
Вслед мы ходим за тобою
И достойными тебя
Будем жизнью святою,
Добродетель ввек любя.

Затем девицы возложили цветы на курящийся треножник.

Императрица Мария Федоровна была глубоко тронута преданностью смолянок. Тут выступило прелестное дитя лет шести с русыми кудрями, обрамлявшими ее ангельское личико; видимо, робея, устремив большие глаза на царственную чету, ребенок произнес на французском языке следующее приветствие:

– Chers objets de vos vœux, vous êtes nos divinités; oui, je vois Minerve, déesse de la sagesse, des sciences et des arts; Phébus, dieu de la lumière, et Hébé, ornement de l'empire: vous quittez l'Olympe pour embellir ces lieux; vous nous inspirez cette extase divine et cette joie céleste, que les dieux seuls ont le pouvoir de produire! (*Дорогие предметы наших стремлений, вы, наши божества; да, я вижу Минерву – богиню мудрости, наук и искусств; Феба – бога света; Гебу – укра-*

шение власти. Вы оставили Олимп, чтобы пленить эти места; вы внушили нам этот божественный восторг и эту небесную радость, которые могут производить одни только боги!)

Императрица привлекла к себе прелестную малютку и расцеловала ее. Затем она в теплых и милостивых выражениях благодарила начальницу Смольного, воспитательниц и благородных девушек.

Между тем в садах, в крытых аллеях, в рощах, в боскетах и куртинах всюду зажглись разноцветные огни. Парочки искали уединения. Везде мелькали ленты и воздушные хитоны монастырок и возле них яркие мундиры юных служителей Марса.

Поэт Державин, взирая на влюбленную юность, сказал стихами о монастырках, что они:

Здесь, с невинностью питая
Хлад бесстрастия в крови,
Забавляются, не зная
Сладостных зараз любви;
И сокрывшись в листья, в гроты,
И облекшись в бледну ночь,
Метят тщетно в них Эроты
И летят с досадой прочь!

Но эроты не летели прочь с досадой и прелестные пустыножительницы вовсе не отличались таким бесстрастием. Горячей волной прилиwała кровь к пылающим сердечкам, не одна ручка трепетала и отвечала на тайное пожатие, не одна головка невольно приближалась к плечу стройного рыцаря и, пользуясь сумраком и таинственным зеленым уголком боскета или рощи, алые уста сливались в первом блаженном поцелуе...

Между тем ночь быстро проходила и алый свет заструился, постепенно заливая сады. Огни иллюминации потонули и побледнели в пламени наступавшего утра. Сады дымились легким туманом под перлами и бриллиантами росы. Высочайшие гости отбывали на яхте, и на главной аллее опять собрались монастырки. Они провожали отбывающую чету радостными криками. Затем, выстроенные воспитательницами в стройные когорты, они были отведены в дортуары. Не одна вздыхала, проходя, опустив смиренно глаза, мимо кавалеров. Начался разъезд утомленных гостей.

Лопухина возвращалась в экипаже родителя, и юный Рибопьер, усаживая ее, имел удовольствие слышать из уст красавицы:

– Непременно приходите к Долгоруковым танцевать вальс! Вы слышали, что император приказал вам всегда танцевать вальс со мной!..

ЧАСТЬ 2

Нимфа, постой. Если агница от волка, лань от льва и трепетная голубка убегает от когтей орла, то каждая остерегается своего врага. Но меня любовь заставляет тебя преследовать.

Метаморфозы Овидия

В моем несчастье — мое оправдание; одинокая запертая, преследуемая отвратительным человеком ужасли я совершаю преступление, пытаюсь избавиться от рабства?

Бомарше.

Севильский брадобрей

I

В ЗОЛОТЫХ СЕТЯХ

— Милая Анета, прелесть моя, поздравляю с успехом свыше меры! Ты была ужасно как мила! — сказала по-русски мачеха княжны Анны Петровны Лопухиной, не по летам ярко одетая и всячески подновлявшая дебелые прелести, тщеславная и суетная московская боярыня Екатерина Николаевна, рожденная Шетнева, влезая вслед за падчерицей в обширную семейную карету.

Заняв собой большую часть широкого сиденья и прижав княжну к углу кареты, наполненной пурпурным сиянием разгоравшейся зари, Екатерина Николаевна бурно отдувалась и обмахивалась веером.

— Феденька — полковник! Какая радость! — продолжала она. — Да, да! Уже переведен в лейб-гвардии Конный.

Она говорила о своем возлюбленном Федоре Петровиче Уварове, который по настоянию ее был переведен чином выше из Москвы. Девушка молчала. Между тем и отец ее, поддерживаемый гайдуком, вошел в карету и величественно поместился на противоположном сиденье. Карета тронулась. Княжна закрыла глаза и предалась обычным своим грустным мечтаниям, между тем как родители ее обсуждали все чрезвычайные обстоятельства дня.

Карета неслась по бесконечной Невской перспективе, в веренице других экипажей и всадников. В открытое окно врывался свежий утренний ветерок, и стук колес не мог заглушить воодушевленных птичьих хоров.

Солнце всходило и заливало горячим светом окрестность, сады и загородные усадьбы.

Княжну не радовали ее успехи. Посещения императора Павла Петровича в определенный час incognito, днем, дома ее родителей на набережной Невы внушали девушке только безотчетный, стихийный страх, хотя никто не мог быть столь рыцарски учтив и более любезен, как царственный поклонник княжны Анны. Она не могла привыкнуть к Петербургу. Свет и двор, где осыпали ее лестью и утомляли низкопоклонством, под которым скрывались всевозможные своекорыстные расчеты, были ей чужды, и она чувствовала себя одинокой и затерянной в этом человеческом лесу. От природы имея доброе, отзывчивое и простое сердце, чрезвычайное влияние на государя, она решалась употреблять только на благотворение. А между тем и ее отец, и ее мачеха, и домочадцы уже вели обширную торговлю этим влиянием и всячески побуждали несчастную княжну выпрашивать милости у императора. Эти милости различным особам отплачивались благодарностью их отцу и домашним княжны. Если же она противилась настояниям, если природная деликатность возмущалась в ней, то отец гневался, мачеха делала

ей грубые сцены, а *madame Gerber, dame de compagnie* фаворитки, и *mademoiselle Goscoygne*, дочь англичанина, придворного доктора, любовница князя Лопухина, преследовали ее тонкими шпильками. Княжна не могла понять при полной неопытности своей тех сложнейших интриг и комплотов, в центре которых находилась. Она только чувствовала себя игрушкой чужой воли, чужих низких расчетов и была несчастна, как птичка в тесной клетке. Вельможи, посещавшие ее отца, граф Кутайсов, Ростопчин, осыпали ее любезностями, подарками, устраивали для нее всевозможные забавы, но их-то всего более она и ненавидела. Они казались ей злыми пауками, огромной паутиной окинувшими двор и свет, а она была несчастной мошкой, запутавшейся в нитях злой сети. Но кроме этой еще были три причины неисцелимой грусти княжны Анны. У нее не было, в сущности, родной семьи и родного дома. Отец ее – холодный эгоист, открыто имел связь с наглой и дерзкой англичанкой. Мачеха так же откровенно жила с Уваровым, и в то же время оба, и мачеха, и отец, следуя развращенным нравам века, срывали поздние цветы плотских удовольствий без всякого стеснения, где только выпадал подходящий случай. Тщеславная мачеха теперь, когда фавор падчерицы пролил поток милостей на Лопухина, когда все пресмыкалось и искало не только у самого князя, но и у последнего служителя их дворни, не знали уже пределов спеси и удержу страстям своим. Только воспоминание о покойной матери светлым лучом озаряло угрюмый холод одиночества бедной фаворитки, счастьем которой завидовал теперь весь Петербург.

Второй причиной грусти и вместе с тем постоянного страха княжны была давняя привязанность ее к товарищу детских игр в Москве. Что, если император узнает об этих отношениях? Что будет с ней, и особенно, что будет с ним!.. Неудовлетворенная потребность в любви и ласке томила ее, а возможность соединить судьбу свою с любимым человеком с каждым днем становилась неосуществимее. Необходимость лгать перед государем, которого она смертельно боялась, но в то же время глубоко уважала, томила княжну, и при нем она теряла всю живость и казалась мраморной статуей, воплощающей задумчивую грусть. Ответы ее были односложны, движения неловки. А между тем не было существа от природы более беззаботного и способного всей душой по-детски отдаваться невинным играм и забавам.

Третьей причиной неисцелимой грусти княжны Анны было переселение в Невскую столицу из родной Москвы, где она провела всю жизнь. Там все было близко, дорого! Там осталась их обширная усадьба, целое поместье с садами, огородами, парками, с множеством старых, преданных слуг и сенных девушек. Там остались знакомые, многочисленная родня. Большой тесовый дом, старинное произведение искусных плотников, с чердаками, переходами, перилами, светлицами, воздвигнутое из необыкновенной толщины матерых бревен еще в конце XVII столетия и пощаженное огнем непрестанных московских пожаров; сараи с берлинами, гуслист, бандурист, содом шутов и дур, приживалки, бедные дворяне, и даже две ручные болтливые сороки, вместе с крикливыми поселениями грачей на старых деревьях – все это вместе с воспоминаниями детства осталось там. Правда, часть прислуги прибыла в Питер и между ними шут Иванушка, столь отличившийся уже на придворной службе, но быстро, кроме девушек, камер-юнгфер, которых она отстояла, эти близкие, привычные, верные люди были заменены новыми интриганами и соглядатаями; им нельзя было довериться, с ними не о чем было вспомнить и перед ними должно было скрывать всякое движение сердца, бояться обронить лишнее слово.

Отдыхом для княжны были только часы, ежедневно проводимые ею в доме московского приятеля ее отца, князя Юрия Владимировича Долгорукова, переехавшего вслед за Лопухиным в столицу. Семейство Долгоруковых занимало дом на Дворцовой набережной бок о бок с домом, который занимали Лопухины. В брандмауерах пробили дверь, и таким образом оба дома соединились в один. Тщеславная мачеха наполнила великолепным убранством огромные покои лопухинского дворца с безмерно высокими потолками. Она учредила утомительный этикет и своей московской вульгарностью сама нарушала его поминутно, но связывала

им каждый шаг падчерицы, постоянно ей внушая, что она теперь как бы на положении августейшей. А в доме Долгоруковых все было по-московски и по-деревенски: множество маленьких комнат, переходы и чуланы, антресоли, московская старинная обстановка, привезенная на множестве подвод, московские слуги и вольный, веселый, безалаберный быт, с не сходящей со стола едой, с толпой обоего пола молодежи, устраивавшей игры, певшей и танцевавшей во все часы дня и ночи. А, главное, сюда не досягал взор и скрипучий голос мачехи, которая была на ножах с хозяйкой. Здесь княжна была безопасна и от наблюдений домашних шпионов. Никто бы не узнал в ней грустную, бледную красавицу торжественных выходов. Простая, милая, веселая, беспечная девушка резвилась, хохотала, танцевала. Юный Рибопьер с товарищами по полку довольно часто посещали радушный дом Долгоруковых. Приятный, бесконечно веселый, истинно французский характер Рибопьера пленил всех, и с княжной Анной Петровной он был в самых приятельских отношениях.

II ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЛЬТЕРА

Рибопьер принадлежал к младшей швейцарской линии древней рыцарской фамилии, владевшей обширными землями и замками в Лотарингии. Король-Солнце Людовик XIV упрочил все наследие дома Рибопьеров за дочерью графа Иоганна Рибопьера, Екатериною-Агатою, бывшей в замужестве за Христианом III, графом палатином Рейнским и Биркенфельдским, из Бишвейлерской отрасли Баварского дома.

Сия Екатерина-Агата была прабабкой по прямой линии первого баварского короля Максимилиана, внесшего в полный королевский титул наименование *Herr zu Rappolstein*, или, по-французски, – *Sire de Ribaupierre*.

Дед графа Александра Ивановича владел имением Ла-Лигьер на берегу Женевского озера. Он был в тесной дружбе с Вольтером, и в имении имелся особый домик, «вольтеровский павильон», где не раз гостил мудрец. Там находилась часть его библиотеки. Великолепные дубы украшали старинный сад, и там, под их приятной сенью, созерцая дивные ландшафты озера и окружающих его гор, великий писатель беседовал с избранным приятельским кружком. Эту связь с Вольтером поддерживал отец юноши, вальсировавшего с Лопухиной, Иван Рибопьер. Именно в Фернее у Вольтера он наслушался восторженных рассказов о мудрости, славе, блеске двора великой русской монархини, «Семирамиды севера», открывшей в гиперборейской стране «золотой век Астреи», в своем «Наказе» преподававшей подданным великие истины, добытые философами века. Впрочем, о России и Екатерине он много слышал и раньше от князя Юсупова и графа Апраксина, с которыми подружился в Тюбингенском университете. Отец добыл было ему патент на чин лейтенанта в швейцарский полк, который находился на службе у Голландских Соединенных штатов и был под командой близкого родственника Рибопьеров, барона Раля. Но похвалы Вольтера, газетные известия, рассказы русских друзей вскружили голову молодому швейцарцу. Что ему был патент и скучная служба у голландских торговцев, когда в России красивому, смелому, талантливому и образованному человеку открыто было чрезвычайное поприще, и милости государыни осыпали счастливец рекой чинов, золота, почестей и славы! С рекомендательным письмом Вольтера в кармане молодой Рибопьер отправился в Петербург и, действительно милостиво принятый монархиней, был назначен офицером, а затем взят в адъютанты к светлейшему князю Потемкину. Женитьба на дочери знаменитого Бибикова породнила Рибопьера с лучшими фамилиями империи, дружба с фаворитом Мамоновым открыла ему доступ в интимный кружок императрицы, в «малый эрмитаж», и все вечера он проводил во внутренних покоях дворца. Природный дар придворного открылся в нем, и чрезвычайная сдержанность Рибопьера подала повод государыне дать ему название «*Dieu du Silence*» бог молчания). И, правда, Рибопьер умел молчать приятно, мудро и даже интересно. От брака с Аграфеною Александровною Бибиковою родились у Ивана Степановича три дочери: Анастасия, Елизавета, Екатерина и сын Александр. Он родился 20 апреля 1781 года, и воспитанником его был маленький великий князь Александр Павлович. Ребенок был необыкновенно красив и с прелестным нравом, и когда подрос, все его любили и ласкали. Мудрый «*dieu du Silence*» часто водил своего мальчика к фавориту Мамонову, а затем его пожелала видеть и сама государыня. Для этого стоило только снести ребенка по внутренней витой лестнице, соединявшей комнаты, обычно занимаемые по очереди фаворитами, с покоем «Семирамиды севера».

Государыня засыпала ласками прелестного Сашу, как она с тех пор звала мальчика, и вскоре так привыкла к ребенку, что постоянно посылала за ним и держала при себе в рабочем кабинете. Если являлись вельможи с докладами, монархиня отсылала Сашу играть с великими князьями. Она сама вырезала ему лошадок с кучером и санками из бумаги, подолгу с ним раз-

говаривала, любуясь золотым сердцем и острым, быстрым умишком мальчика. Великолепны были игрушки, которые дарила ему императрица. Подарила охоту за оленями. Игрушку заводили, и олень бегал, собаки лаяли и гнались за ним, егеря скакали на лошадях, трубил рог. Когда Саше Рибопьеру пошел пятый год, государыня пожаловала его офицером в конную гвардию, что по армии давало ребенку чин ротмистра. Такой милостью в долгое царствование Екатерины воспользовались лишь десять мальчиков: внуки «великолепного князя Тавриды», три Голицына и Браницкий, приходившиеся двоюродными братьями Саше Рибопьеру, два сына фельдмаршала Салтыкова, граф Шувалов и граф Валентин Эстергази.

Когда возник вопрос о том, кого пригласить воспитателем любимого внука императрицы, великого князя Александра Павловича, Иван Степанович Рибопьер указал друга своего детства в Швейцарии, женецкого гражданина Цезаря Лагарпа, который и получил почетное предложение монархии. Глубокую признательность хранил к семейству Рибопьеров благородный женевец. С воцарением императора Павла, впрочем, его уважавшего, Лагарп удалился на родину. Он испытал там превратности политического поприща и все тернии «народоправия» как диктатор Гельветической республики. Лагарп находился в постоянной переписке с Иваном Степановичем.

Матушка Саши Рибопьера была фрейлиной Екатерины. Честь необыкновенная, ибо тогда фрейлин было только двенадцать. Вообще число придворных великой монархии было очень немногочисленно, ибо для того потребно было иметь выдающиеся качества ума, породы, воспитания. Нелегко было попасть в славную стаю екатерининских орлов и орлиц. Кроме же первых и вторых чинов двора, было лишь двенадцать действительных камергеров в чине генерал-майоров и двенадцать камер-юнкеров в чине бригадиров или статских советников. Они постоянно дежурили при государыне и наследнике, составляя их ежедневное общество, и представляли высшую школу и рассадник государственных людей⁵.

В кругу избранных людей Екатерины рос «маленький Рибопьер», как его называли, постоянно приглашаемый подростком и на «большие» эрмитажи, на которых бывал обыкновенно бал с ужином, иногда же маскарады, и число приглашенных доходило до 200 человек, и на «средние»; эти начинались театральным представлением, пением, танцами артистов императрицы, чтением и ее произведений и русских прославленных авторов, а продолжались разными играми: в играх, встав после карт, для отдохновения занемевших от сидения членов, принимала участие и сама императрица. Тут «маленький» Саша Рибопьер проявлял всю грацию, ловкость, ему врожденные, и бесконечную откровенную веселость. На «средних» эрмитажах бывало не более 50–60 гостей. Но Саша был свой и в теснейшем кружке «малого» эрмитажа.

Беспредельная любовь и благоговение к великой монархии воспитались в сердце Саши Рибопьера с младенческих лет. Государыня подарила Саше свой большой поясной портрет, и это изображение он хранил и чтит, как святыню. Сияние гения Екатерины озаряло годы наступающей юности его и навеки пленило его сердце! Двор ее был не только величав и великолепен. Он был еще образцом хорошего вкуса и самого изысканного тона. Это было беспрестанное излияние царского величия, не терявшего никогда своего достоинства, и беспредельной благодати, а со стороны подданных такой же беспредельной любви. Так мнилось мальчику. Из любимцев Екатерины он знал Мамонова, роскошного красавца Зорина. В восемь лет он очень испугался, когда его вдруг поднял во дворце могучими руками Потемкин, богатырь ростом и осанкой, одетый в широкий шлафрок, с голою грудью, поросшей волосами.

Царствование Павла Петровича показалось юноше угрюмым облаком, тенью нашедшим на блестящий двор неподражаемой царицы, эпикурейцев-вельмож и ее преторианцев. Суровый дух Павла Петровича, рыцарский и мистический его характер были непонятны и даже ненавистны воспитанникам скептического прихода французской энциклопедии. «Маленький»

⁵ При императоре Николае Павловиче было уже 324 камергера и камерюнкера и 180 фрейлин.

Саша Рибопьер видел, прежде всего что император облек в старомодные мундиры, ботфорты, плоские треуголки с косицами не одних военных, но и всех придворных, которые до сих пор облекались в изящнейшее и богатейшее платье по своему усмотрению. Исчезли эти сочетания нежных цветов, эти потоки бриллиантов, кружева, дивные табакерки...

Император снял фасон шитья для полной парадной формы гвардейского мундира со старого бироновского кафтана. А кафтан этот увидел он на Ненчини, певце-буффе итальянской оперы...

III

ДЕЛОВОЕ УТРО КНЯЗЯ ЛОПУХИНА

Передние комнаты в доме князя Петра Васильевича Лопухина наполнялись просителями с самого утра. Терпеливо стояли и сидели здесь люди, перешептываясь, вздыхая и провозжая завистливыми глазами тех немногих счастливых, которые, едва появившись, сейчас же почему-то получали доступ во внутренние покои. А между тем часто это были просто длиннобородые купцы в длиннополых кафтанах или евреи с огромными пейсами в традиционных лапсердаках. Секретарь князя и два его помощника то и дело появлялись в передних и, опытным взглядом окинув собрание, к одним подходили и что-то шептали им на ухо, после чего лица последних вытягивались, и они, вздыхая и сторбившись, удалялись. Других постоянно тщательно обходили, несмотря на умоляющие взгляды.

Время шло. Кареты вельмож одна за другой подкатывались к парадному подъезду, загрожая набережную. В гостиных происходило другое собрание. Там прохаживались военные и штатские, сидели, ведя приятное «козри», разодетые дамы. Но и там одни немедленно получали доступ к князю другие ждали его выхода, третьи не знали, удостоит ли он заметить их и подойти.

Князь в это время сидел в уборной перед трехстворчатым большим зеркалом, завешанный пудромантелом. В то время как парикмахер чесал его волосы, устраивал «гарбейтель» и укреплял по обеим сторонам его шишковатого объемистого черепа искусственные крупные букли на проволочных каркасах, секретарь докладывал дела ожидавших просителей, и именно этот доклад определял их дальнейшую судьбу. В то же время поминутно камердинер князя, итальянец в белоснежном жабо и малиновом кафтане – мальтийский цвет был дан самим императором князю для ливрей, – докладывал о прибывших вельможах и дамах. Одних князь просил немедленно пожаловать, других – подождать. Перед князем сменялись униженные, низко кланяющиеся фигуры допущенных к нему просителей и полные достоинства, с разной, однако, степенью независимости, разодетые фигуры вельможных посетителей, сядившихся с табакеркой в одной руке и надушенным платком в другой в кресла около князя и сообщающих новости двора и света. Некоторых князь встречал легким криком и поднимался и шел им навстречу, причем вокруг головы его носилось белое облако пудры, и так же приветливо провожал. Другим только кланялся в зеркало.

Принимая дам, князь рассыпался в извинениях за домашний костюм, целовал их ручки, а нередко и уста, порой увлекая для интимной беседы в маленький, смежный с уборной кабинетик, убранный зеркалами и картинами игривой французской школы, с мягкой, прихотливо изогнутой мебелью.

Через несколько дней после монастырского праздника князь на утреннем приеме волновался и сердился. К нему привели дурака Иванушку, дерзким поведением навлекшего гнев императора и уже лишенного своеобразного придворного звания.

– Дурак, болван! – кричал князь, потрясая сжатыми кулаками перед носом старичишки, однако не смея его ударить.

Княжна Анна Петровна покровительствовала старому шуту и просила за него самого государя. Только это избавило Иванушку от более чувствительного наказания.

– Как смел ты столь дерзко говорить перед лицом монаршим! – кричал Лопухин.

– А зачем же вы мне, дураку, поручали перед ним говорить! – дерзко ответил старый шут.

– Молчать! С глаз моих долой! Отошлю в Москву с обозом в собачей клетке! – кричал князь.

– Что ж, псам-то у бар лучше житье, нежели людям! – сказал шут.

– Вон! – завопил князь.

Шут поклонился и вышел не торопясь.

– Какова дерзость, – отдуваясь, сказал князь секретарю.

– Дураки и сумасшедшие у всех народов находились всегда на особливом положении, ваше сиятельство, – почтительно заметил секретарь, бледный молодой человек из духовного звания.

– Да, это так! Для дураков закон не писан, хотя бывало в истории, что и дураки законы писывали, а умные должны были их исполнять. Ха, ха! – сам своей остроте засмеялся князь.

Секретарь тоже засмеялся тоненьким голоском, выразив восхищение остроумным замечанием князя на бледном лице.

– К тому же мы, ученые... *Nous autres savants*. – Любимой поговоркой князя были слова – «мы, ученые». Он считал себя ученым, потому что имел богатое книгохранилище, каталог коего составил собственноручно. – Мы, ученые, – продолжал он, – должны показывать пример снисходительности к лишенным просвещения. Ах, любезнейший, – продолжал князь важно и в нос, – философу тяжела суeta дворской жизни. Я не знаю счастья выше, как уйти в мою библиотеку, зарыться в фолианты... Эти приемы, празднества, выходы, выезды! Эти надутые вельможи! Сколь питательнее для ума и сердца беседа с ученым мужем, хотя бы и простого звания. *Bonheur d'aller couler des jours paisibles et consacrés aux Muses, à l'ombre du laurier de Virgile!* Да, да! Счастье в том, чтобы дни текли в тиши, посвященные музам, под тенью Виргилиева лавра! Но докучная суeta стучится в дверь! Много у нас дел решенных и подписанных? – озабоченным тоном спросил князь.

– Есть-таки достаточно-с! – отвечал секретарь.

– Вылеживают?

– Так точно, ваше сиятельство, вылеживают.

– Ах, братец, что же ни одно не вылежалось, что ли? Как бы не зачичкали! А мне, братец, необходимо... Ну... понимаешь!..

– Точно так, ваше сиятельство, понимаю. Но дела решены, подписаны и просители по ним уже вызывались мной и побывали в передних вашего сиятельства.

– Так зачем же дело стало? Ведь знают, что без подорожной не отпущу от себя, хоть три года ходи. Что же не представляют подорожные?

– Сейчас многим представил дела для просмотра. Надо думать, ваше сиятельство, снабдили подорожными, – невозмутимо сказал секретарь и достал из папки кипу дел. Он подавал их одно за другим князю, который встряхивал их за корешок, причем из листов дождем сыпались крупные ассигнации и кредитивы и скоро кругом князя весь пол был ими усыпан.

– Постой, постой, – отстраняя оставшиеся в руках секретаря дела, сказал князь. – Мне пришла в голову счастливая мысль... Мы, ученые... *Nous autres savants*... воспитанные на образцах классической поэзии... Помнишь, как Юпитер сошел к прелестной смертной золотым дождем? Вот и мне, глядя на эти «подорожные», пришла в голову удачная мысль... Сними пудромантель и подай мне шлафрок, – приказал князь парикмахеру. – Да поднимите же эти листочки! – небрежно носком узорной туфли отпихнув несколько кредитивов, валявшихся на полу, продолжал он.

Парикмахер, секретарь и камердинер бросились поднимать «подорожные». Собрав их, они совокупили пачку довольной толщины. Секретарь выколотил из нее приставшую пудру и с низким поклоном подал князю.

Лопухин небрежно сунул пачку за подкладку шлафрока.

– Теперь эти дела можешь отправить просителям без замедления, – приказал он секретарю. – А эти подай мне.

И, взяв пачку дел под мышку, князь удалился из уборной, пощелкивая туфлями.

Секретарь, парикмахер и камердинер-итальянец посмотрели ему вслед и многозначительно переглянулись.

IV НОВЫЙ ЮПИТЕР

Любовница князя, юная красавица-англичанка, была дочерью старого англичанина, придворного медика, состоявшего и постоянным врачом английского посланника лорда Уитворда. Муж госпожи Госконь, родом шотландец, был директором Олонецких заводов и занимал значительное масонское положение. Из Шотландии он вывез не только металлургические тайны, но и важные секреты своего ордена.

Госпожа Госконь занимала отдельные роскошно обставленные покои в близком соседстве с кабинетом и спальней старого князя. Пройдя узким коридорчиком через скрытую в стене маленькую дверь, князь вошел в обширную уборную красавицы. Лай собачек, крик попугая, визг обезьяны на длинной золотой цепочке, прикрепленной к поясу, бегавшей в углу, возвестили его появление.

– Кто там? – раздался гармоничный голос из спальни. – Мистер Френсис, посмотрите, кто там?

– Это я, моя прелесть, это я! – подобострастно сказал князь, запахивая шлафрок и держа кипу дел под локтем.

В уборную вышел человек, одетый с необычайной роскошью в кафтан французского покроя, пуговицы которого были залиты драгоценными камнями, с бриллиантами на пряжках башмаков, в тончайших кружевах. Башмачки были на высочайших красных каблукках, а детская головка карлика, впрочем, сложенного совершенно правильно и пропорционально, венчалась высоким париком. Все старания крохотного человечка увеличить свой рост и до последней степени надменная манера себя держать не достигали цели. Карлик казался оживленной фарфоровой куколкой. Он почти неотлучно состоял при госпоже Госконь, как паж, поверенный всех ее тайн, чтец и забавник, льстец и сплетник. Вместе с собачками, мартышкой, попугаем и князем Лопухиным мистер Френсис был необходимой подробностью ее жизни. Тоже англичанин родом, он начал карьеру при австрийском дворе и служил Георгу III, великому гастроному и любителю благ мира сего, особенно красивых женщин. Король подарил карлика с богатым гардеробом и пенсией своей любовнице, знаменитой красавице и фрейлине Екатерины Великой, блиставшей и при дворе Людовика XVI, пока революция не изгнала ее из Парижа, *esprit fort*, знавшей творения энциклопедистов, особенно Вольтера, наизусть, сестре Платона Зубова Ольге Александровне Жеребцовой. Она и привезла в Россию мистера Френсиса, уже затем в Петербурге перешедшего со своим значительно здесь увеличившимся гардеробом к прелестной соотечественнице. Мистер Френсис был очень богат и ссужал под хорошие проценты легкомысленных щеголей, сыновей знатных родителей.

Теперь крошка надменно стоял перед князем, решительно протянутой ручкой заграждая ему вход в спальню красавицы.

– Madame еще в постели, князь! – говорил он по-французски.

– Ну, что ж из того! – возразил заискивающе Лопухин. – Я пришел к ней с сюрпризом! – громко прибавил он.

– Сюрприз?! Что у него такое, мистер Френсис? – спросил голос красавицы из спальни.

– Я ничего не вижу, кроме кипы пыльных дел в руках князя, – отвечал карлик.

– Юлия, позвольте мне войти, – воскликнул князь. – Вы не раскаетесь!

– Ну, хорошо, войдите, несносный! Пойдите! Пойдите!

Любопытство заставило Юлию покинуть постель, и она едва успела прыгнуть обратно в роскошное ложе под балдахином, украшенным страусовыми перьями, и закрыться одеялом, с такой стремительностью старый князь воспользовался милостивым разрешением.

Это была действительно прелестная женщина, с белокурыми локонами, огромными голубыми глазами, лебединой шеей и перловой грудью – истинный образец английской красоты.

Князь почтительно приблизился к ложу и, склонив одно колено, осыпал поцелуями протянутые ему ручки англичанки.

– Что это вы принесли? Купчие на те земли, которые обещались мне купить из конфискованных императором? – спросила англичанка.

– *Nous autres savants...* – сказал князь любимую поговорку. – Вы помните, прелестная Юлия, как в древности Юпитер сошел к красавице золотым дождем?..

И князь, вдруг вскочив, простер руку с кипой дел над ложем госпожи Госконь и потряс их. Ассигнации и кредитивы действительно дождем посыпались. Но князь не предусмотрел одного обстоятельства. Бумаги дел были засыпаны песком, и этот перепачканный песок посыпался на красавицу, черня лицо, шею, плечи и обнаженные руки.

– Вы сошли с ума, князь! Что вы делаете! – в величайшем гневе и испуге закричала Юлия. – Френсис! Френсис!

Совершенно ошеломленный неожиданным следствием мифологического сюрприза, подражатель Юпитера стоял неподвижно, держа в руках дела, из которых продолжал сыпаться песок уже на него самого. В спальню вбежал карлик и несколько болонок; и карлик и болонки вцепились в шлафрок князя из великолепной бухарской шали и тащили его от кровати, на которой стояла в одной прозрачной рубашке красавица, продолжая кричать в испуге и совершенно уверенная, что престарелый любовник ее помешался.

Если она действительно напоминала в эту минуту античную статую, слегка очерненную пылью веков, то князь Лопухин имел весьма отдаленное сходство с Юпитером.

– Боже мой, Юлия! Что я сделал! – наконец взмолился он. – Успокойтесь, я в здравом уме и полной памяти. Простите мою неловкость, мою несообразительность! Я никак не ожидал, что золотой дождь сопровождается будет песочным!.. Мистер Френсис, перестаньте меня терзать за шлафрок и уймите собачек. Их острые зубки дают мне себя чувствовать.

– Э, – сказал мистер Френсис, оставляя в покое князя и при помощи скамеечки влезая на кресло, стоявшее рядом с ложем прелестной госпожи. – Да это в самом деле золотой дождь! Это кредитивы, – продолжал карлик, взяв несколько бумажек и рассматривая их. – И с самыми благонадежными подписями. Это целое состояние!

Такое известие благотворно подействовало на госпожу Госконь. Поняв, в чем дело, она разразилась неудержимым хохотом. Радостно засмеялся и князь, захихикал карлик, а собачки, увидев перемену общего настроения, залились уже ликующим лаем, прыгая кругом великолепной кровати.

Красавица спрыгнула с нее и подбежала к огромному зеркалу, в котором отражалась с головы до ног.

– Что вы со мной сделали, князь! – сказала она со смехом. – Вы превратили меня в негритянку. Это достойно, в самом деле, «Метаморфоз» Овидия.

– *Nous autres savants...* – пробормотал князь, радуясь, что все кончилось благополучно.

– Что ж, золото обычно находят смешанным с песком, – сказал карлик, собирая ассигнации и кредитивы в увесистую пачку. – Ого! – продолжал он. – Видно, что это руда из государственного богатейшего рудника.

Князь поспешно взял стоявшее на пузатом комодике серебряное блюдо и, положив на него пачку, собранную карликом, поднес ее красавице, преклонив колено.

– Тут в самом деле много, – сказала та беспечно. – Спасибо, милый князь. А мне так нужно. Я видела чудное ожерелье... И мне так хотелось его купить, чтобы быть в нем сегодня вечером у госпожи Шезалье. Вы знаете, князь, что сегодня вечером она ожидает вас? Будут еще Жеребцова, лорд Уитборд, граф Кутайсов и фон дер Пален. Шевалье наденет свои серьги, подарок государя. А я... это ожерелье!

И, подняв князя, она поцеловала его в лоб. Затем оттолкнула.

— Я должна смыть следы вашего золотого дождя. Да и вы, мой милый Юпитер, изрядно перепачкались. Что скажут ваши домочадцы, если встретят вас в таком неблагоприятном виде! Идите и приведите себя в порядок в моей умывальной. Я помогу вам

И Юлия, как быстроногая нимфа, по толстому ковру, устилавшему ее спальню, побежала в умывальную. Там стоял огромный сосуд, полный водой, высеченный из монолита, где красавица купалась каждое утро.

Стены здесь были сплошь зеркальные. Потолок расписан животворящей кистью одного из корифеев французской школы. Мягкие, широкие и низкие диваны стояли по сторонам. Мраморный пол был из плит, вывезенных из Рима, из развалин дворцов. Некогда стопы Нерона и Калигулы попирали эти мраморы...

V

РОДИМЫЕ ПЯТНА ГОСПОЖИ ШЕВАЛЬЕ

Дом первой певицы и актрисы придворного театра, как и дом Долгоруковых, стоял рядом, стена к стене, с домом князя Лопухина на Невской набережной и также был соединен внутренним ходом. По тесным связям обитателей все три дома эти составляли одно целое, и всегда в одной части было известно, что готовится или что происходит в другой.

Актриса Шевалье, высокая, величественная женщина, несравненной красоты брюнетка, с божественным голосом, прибыла в Россию по приглашению его высокопревосходительства господина обер-гофмаршала, над зрелищами и музыкой главного директора, разных орденов кавалера Александра Львовича Нарышкина, и во французском контракте ее значилось: «*Que madame Chevalier est engagée pour jouer sans distinction tous les rôles, qui lui conviendront dans l'opéra français*». (*Госпожа Шевалье ангажирована, чтобы играть без различия все роли, какие к ней подойдут во французской опере.*) Жалованье ей положено было 7000 рублей и разъездных 300. Муж красавицы, пронырливый, алчный французик, скоро занял важное положение балетмейстера, так как знаменитый Ле-Пик, ставивший танцы еще на празднестве великопного князя Тавриды, был стар уже при матушке государыне, а теперь совершенно одряхлел. Скоро высочайшим указом муж прекрасной Шевалье назначен отныне впредь навсегда быть сочинителем балетов. Это важное назначение находилось в связи с ролью, которая не прописана была в контракте, быстро занятой красавицей-певицей. Затмив соперницу свою певицу Вальвиль, новая примадонна вступила в интимную связь с обер-гардеробмейстером и брадобреем императора графом Кутайсовым. Страстный и ревнивый турок держал себя, как верховный визирь. Сераль его был обширен и постоянно полон прелестницами. Но госпожа Шевалье одна занимала царственное положение в сердце графа, и для нее отделан был дворец рядом с домом князя Лопухина, сказочная роскошь коего достойна была воображения Шахеразады. Шевалье сама отличалась беспечным и благородным характером, но алчность ее супруга не имела пределов, и он, искусно пользуясь влиянием красавицы на Кутайсова, проводил через нее дела не менее важные, чем те, которые снабжались «подорожными» для отсылки от князя Лопухина к просителям.

Огромные доходы давало балетмейстеру влияние супруги, но этим не ограничивалась его деятельность. Тайны величайшей важности были ему известны. Якобинец и масон, балетмейстер явился в Россию по вызову тайных, могущественных покровителей. Живой связью между отцом фаворитки князем Лопухиным и актрисой Шевалье являлась госпожа Госконь. Именно ее покои и даже самая спальня были соединены потайной дверью и лазейкой через брандмауеры домов с покоями и спальней Шевалье... Император благосклонно относился к интимности своего брадобрея и певицы. Лукавый турок сумел придать чувственной связи возвышенный романтический характер такого же рыцарского, платонического обожания, какое пока питал Павел Петрович к княжне Анне. Брадобрей уверял, что добродетель певицы тверже алмаза и что часы, проводимые им в ее доме, проходят в самых чистых мечтаниях и поэтических беседах. «Если свет судит иначе об сем, то его величество знают цену людскому мнению и пристрастному подлому суду людскому! Будь чист, как ангел, клевета тебя сделает чернее демона!...» – эти слова Кутайсова встречали полное доверие и сочувствие императора Павла, на себе испытавшего, как далек свет от понимания всего утонченного и чистого. Так и возвышенные отношения императора к Нелидовой дали повод придворной и светской толпе к гнусной клевете! Людская толпа о всем судит по своим грязным побуждениям и величие душ избранных ей непонятно.

Почти ежедневно, в определенный час дня, государь садился с графом Кутайсовым в карету, обыкновенную, не придворную, с прислугой, одетой в мальтийского цвета малиновые

ливреи, и ехал *incognito* на свидание с княжной Анной. Полиция и все встречные обязаны были не узнавать императора и Кутайсова под страхом жесточайшего наказания. Дорогой государь обыкновенно развивал свои обширные планы о восстановлении мальтийского рыцарства и о возрождении при его помощи дворянства всех наций, долженствующего стать на защиту христианства и монархического принципа в Европе. Государь развивал в пламенных картинах быстрого воображения своего, как возродится опять культ высокой рыцарской чести и платонического обожания женщины, через что очистятся и умягчатся нравы и российского шляхетства, погрязшего в маелостях своих в грубое, темное проведение времени среди грязных оргий с крепостными женщинами, в пьянстве, в травлях русаков. Российское шляхетство вступит в ряды европейского рыцарства и облагородится. Отсюда начинались пламенные картины воображения его величества, как меркнет навсегда блеск полумесяца, восстанавливается крест на Св. Софии, Св. Гроб Господень освобождается, и престол Палеологов занимается гротмейстером мальтийского ордена.

Себя и Кутайсова государь почитал служителями рыцарского культа платонического обожания женщины. Он сперва завозил Кутайсова к Шевалье, а затем уже подъезжал к дому Лопухиной. Но по двойственности и противоречивости загадочной природы своей Павел Петрович часто среди самых возвышенных рассуждений вдруг впадал в буффонство и пускался в довольно рискованные расспросы о расположении родимых пятен на прелестном теле Шевалье, руки, шея и грудь которой были украшены самыми очаровательными родинками. Император, как всегда блистая неистощимой энциклопедичностью сведений из самых разнообразных областей, оказывался тонким знатоком галантной науки угадывания по родинкам на открытых частях тела женщины количества и расположения их на сокровенных прелестях. Граф Кутайсов должен был признаться, что государь или обладал глубокими познаниями в этой науке, или получил откуда-либо сведения о самых интимных особенностях певицы. Во всяком случае, было очевидно, что в сущности Павел Петрович не верит сам платонизму отношений Кутайсова и Шевалье, отлично знает о вечерах актрисы, куда дамы являлись в столь открытых и прозрачных платьях, что и без научных выкладок можно было узнать все особенности их сложений. Но Павел Петрович так увлекся благородными фантазиями своими, что хотел, чтобы было так и в суровой действительности.

Император Павел Петрович был человек добродетельный и ненавидел распутство. Но 28 января 1798 года рождение великого князя Михаила положило начало роковому отчуждению императора от державной его супруги.

Беременность государыни и разрешение ее сопровождалась чрезвычайно опасными предубеждениями. Полагали, что причиной была привычка Марии Федоровны затягиваться при интересном положении для сохранения стройности талии. В самом деле, императрица в годы полной зрелости чудесно обладала станом олимпийской богини. Но корсет будто бы отозвался губельно на ее организме. Хотя течение последней беременности государыни не показывало чего-либо особенного, как и во время девяти предыдущих, однако приглашен был акушер из Геттингена; ученый профессор заявил, что основания его науки и правила его искусства несомненно его удостоверяют, что при дальнейшем супружеском сожителстве и плодovitости императрицы следующая беременность грозит ей смертью.

Император с ужасом выслушал заключение профессора, предъявленное им на латинском языке, объявил, что жизнь императрицы для него бесконечно драгоценна, долг любви заставляет его потому внять голосу науки, принимая к тому же во внимание, что Небо послало ему многочисленное потомство и с этой стороны государство обеспечено. Императрица, преданная супружеским обязанностям, как все добродетельные женщины, проявила отвращение к сему решению и назвала немецкого профессора невеждой и наглецом. Тем не менее профессор возвратился в отечество, осыпанный золотом и подарками, а с этого самого дня император стал опочивать в особой спальне.

VI УШИ ГОСПОЖИ ШЕВАЛЬЕ

Тесный кружок собрался вечером в салонах актрисы. Ряд комнат, отделанных с изумительным вкусом и роскошью, с полами розового и иных драгоценных дерев, с росписью потолков и стен, над которой трудились великие артисты в лучших мастерских Парижа и которая, произведенная на каких-то хрупких материалах, затем несена была на руках нарочито до самого Петербурга, причем на сие от границы Российской империи употреблены были крепостные крестьяне огромных имений Кутайсова, и затем с величайшим искусством прикреплена на свое место! И мебель, статуи, вазы, люстры и канделябры, библиотека драматических автографов и музыкальных сочинений, драгоценные арфы и клавесины! А посуда, фарфор, серебро и самые напитки и яства ужинов актрисы! Но в этот вечер наиболее ценным и роскошным предметом салонов красавицы, привлекавшим все внимание и изумление гостей, были изящные, маленькие ушки хозяйки, или, точнее, те бриллианты-солитеры, которые переливались дивными огнями и несравненным малиновым «мальтийским» цветом, подвешенные к сим очаровательным ушкам!

Мужчины были уже в сборе. На дивном кресле, представлявшем раковину, обитую бархатом, подражавшим розоватому перламутру, и вполне достойным принять Афродиту в мгновение ее чудесного рождения из пены морской, покоилась сама хозяйка. Была ли она одета или раздета? Чудесные волосы ее искусно заплел в корону артист-парикмахер. Прозрачные ткани только оттеняли ее дивное тело с желтоватым колоритом кожи. Драгоценный пояс, свитый из золотых нитей и перлов, охватывал ее стан. И, тихо покачиваясь, горели на ушах бриллианты, подарок императора, надеваемые красавицей лишь в исключительных случаях и положительно не имевшие цены. У ног ее на скамеечке сидела одетая фригийским пастушком, в красном колпачке *une virago courtisane*, молоденькая актриса Сюзет, похожая более на хорошенького, курчавого, с вздернутым носиком и ямочкой на круглом подбородке мальчика. Она не спускала влюбленных глаз с Шевалье и порой благоговейно целовала ее розовые ноги, тонувшие в волнах тончайших, драгоценных кружев.

Сюзет была ближайшей подругой куртизанки и спала около ее ложа на полу, на тюфяке, обитом мехом чернобурых лисиц. Шевалье спала беспокойно. Ее преследовали видения из трагических французских пьес, которые она играла, и Сюзет ухаживала за ней во время ночной тревоги и внезапных пробуждений с воплями и плачем. Из женщин кружка Шевалье была еще Ольга Александровна Жеребцова. Зрелая, чисто русская красота ее была так же почти лишена покровов, как и прелести самой хозяйки.

Из мужчин все обычные посетители ужинов куртизанки были налицо: красивая неополитанская лисица из адмиралтейства де Рибас, английский посланник лорд Уитворд, меланхоличный, невысокий и скромный князь Платон Зубов, граф Кутайсов в пурпуре и с белым хохлом, обычно напоминавший какаду, лейб-медик императора и постоянный доктор Ливенов, входящий в теснейший кружок императрицы и великого князя Александра Павловича, англичанин мистер Бек, князь Лопухин, поминутно покушавшийся вести с Беком ученый colloquium, начиная неизменной присказкой – «*nous autres savants*». Около хозяйки сидел только что возвращенный государем из Курляндии, куда он был выслан по отставлению от службы, и получивший вновь с милостью государя важнейшее назначение на пост петербургского генерал-губернатора фон дер Пален. Уста его змеились тончайшей улыбкой, а глаза поражали умом. Он сыпал анекдотами, каламбурами и смешил хозяйку. В искусстве забавлять женщин Пален не имел соперников, и обыкновенно они встречали его как самого милого, беспечного, доброго весельчака. Но, быть может, не одна из светских его приятельниц упала бы в обморок, если бы взглянула в мрачные ущелья души этого интригана, холодно совершавшего преступления

самые вопиющие, раз требовалось расчистить путь для ненасытного его честолюбия. На столике перед Паленом стоял неизменный графин с лафитом пополам с водой. Жажда постоянно мучила Палена, и в этом отношении он сравнивал себя с древним Танталом. Это непрестанное питье воды с лафитом, эта палящая жажда была как бы единственным проявлением тайных страстей, пожиравших внутренности этого человека, сквозь ледяную маску притворного благодушия.

Известно было, что всем, кого постигала немилость Павла Петровича, если они являлись, дрожащие, бледные, умоляющие о помощи, к Палену и сообщали о ссылке их самих, их семьи, родителей, знакомых, родных, конфискации имущества, курляндец неизменно говорил:

– Вот так история! Не хотите ли стакан лафита?..

Ждали появления госпожи Госконь. А между тем беседа вертелась около солитеров, горевших в ушах Шевелье. Она рассказывала, как страшилась ехать в Россию, где круглый год, как ей говорили, идет снег, обитатели ходят в звериных шкурах и едят сальные свечи по воскресеньям как праздничное блюдо, в городах по улицам бегают волки и медведи, а окрестности обросли дремучими лесами клюквы и брусники... Ей говорили, что при покойной императрице Петербург и Царское Село действительно превращены в оазис, где жизнь текла совершенно подобно Парижу, Версалию и Трианону. Но что будто бы новый государь превратил свою столицу в скучный прусский городок, в кордегардию, где пахнет одними солдатами...

– Вам говорили истину, признаться должно! – проговорил сквозь зубы, глядя на ногти, князь Платон Zubов в этом месте рассказа.

Шевалье продолжала. Петербург, куда они прибыли с мужем осенью, показался ей таким угрюмым, неприветливым. На каждой улице полосатые будки и заставы с рогатками черно-желто-красного цвета... К тому же один из артистов перед дебютом уверял ее, что если пение не понравится императору, то он не задумается, как восточный деспот, отрубить уши певичке!..

– И не задумался бы, вам сказали правду! – опять пробормотал, лоща ногти, князь Платон Zubов

Дебют сошел так удачно, что император в восторге не знал, чем одарить артистку...

– Вот тут я и рассказал императору, – перебил хозяйку Кутайсов, – страхи нашей богини! Его величество хохотал полчаса, услышав историю с ушами. Признаюсь, я весьма опасался за исход, ибо негодный актеришка, навравший диве, поспешил послать в иностранные газеты, как о совершившемся. И всюду стали печатать, что, рассердившись на певичку, император Российской империи приказал отрубить ей уши. Газеты ужасались варварству восточного деспотизма. Видя милостивое настроение его величества, я и о сем донес. Что ж, веселости не было конца!

– Как не веселиться! Анекдот для нас выдуман! – прошептала Жеребцова, повела роскошными плечами, словно ей было холодно, и обнаженную грудь ее взволновал глубокий вздох.

– Веселости не было конца! – блестя глазами, повторил граф Кутайсов. – Государь сейчас же велел принести эти серьги с солитерами, игрой которых мы, однако, менее в эту минуту любуемся, чем живым огнем очей их обладательницы, – ввернул комплимент Кутайсов, за что и был награжден улыбкой куртизанки, – и, передавая мне, изволил приказать: «Вези сейчас эту безделицу Шевальевне и скажи, чтобы вечером на спектакле во дворце в моих сережках была. Полагаю, что тогда Европа рассмотрит, целы у ней уши, или нет!»

Все мужчины захохотали при этом: громко, грубо, злобно и насмешливо. Но госпожа Шевалье недовольным жестом остановила их хохот.

– Государь так был с тех пор милостив ко мне! Это – рыцарь. И как он учен. Он знает все мои роли из Расини наизусть и столько рассказывает мне из истории, что я начинаю понимать многое такое в монологах, о чем раньше и не подозревала. Государь – мой благодетель. И если бы он подарил мне не эти солитеры, а простые стекла, я носила бы их с таким же восторгом!

Мужчины кусали насмешливо губы и опускали глаза при этих словах куртизанки.

– Но что же долго нет нашей божественной Юлии, князь? – спросила актриса у Лопухина.

Прежде чем старый князь успел ответить, в покой вошла госпожа Госконь в сопровождении своего карлика.

VII ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ

Легкий крик удивления и восторга мужчин встретил любовницу старого князя. Все сознались, что истинной Афродитой или соблазненной и соблазняющей праматерью золотокудрой Евой должно назвать Юлию. Хитон, прорезанный с боков, воздушной радужной ткани струился по ее плечам, то скрывая, то выдавая все изгибы и формы тела, как отражающая пурпур зари морская волна. Ножки ее охватывали сплетенные из тисненных ремешков, усыпанные изумрудами, рубинами и яхонтами, ажурные, сквозные, хитроузорные парфянские сапожки. Драгоценный эшарп мягким ослабленным кольцом охватывал ее бедра и скреплен был аграфом из крупных бриллиантов. Но взоры всех приковывало к себе жемчужное ожерелье красавицы, покоившееся на ее груди. Огромные зерна перлов положительно не уступали солитерам Шевалье. Облачко завистливой досады омрачило на мгновение чело куртизанки, но вслед за тем она рассмеялась и, поднявшись навстречу Юлии, заключила ее в объятия и звонко поцеловала.

– Откуда это у тебя? Какая прелесть! Сам бог морей Нептун не мог бы сыскать лучших перлов в пучине морской! – сказала актриса.

– Изумительно! Прелестно! Восхитительно! – слышались изъявления восторга мужчин.

– Это подарок не бога морей, но... – красавица указала на сиявшего гордостью Лопухина, – вот его!

– Виват, князь! Виват! Виват! – закричали все, рукоплеща. – Ему быть сегодня золотым ослом, ему! Он вполне этого достоин!

Князь низко поклонился.

В ту же минуту курчавый фригийский пастушок Сюзет выбежала из комнаты и сейчас же возвратилась, неся вызолоченную маску ослиной головы с большими ушами и при общих знаках одобрения надела ее на голову Лопухина. Золотой осел важно кивнул, причем уши пришли в движение, и сказал:

– Поклоняюсь тебе, Афродита бессмертная, из пены рожденная, властительница утех любви чистейших, зажигающая сим огнем чистейшие неги сердца земнородных смертных!

Он опустился на колени перед Юлией, простер руки и положил ослиную голову на ковер.

Юлия поставила свою сверкающую ножку на покорную спину золотого осла.

– Поклоняюсь тебе, Афродита бессмертная! – хором воскликнули все мужчины и упали на колени.

Сюзет поднесла Афродите на золотой тарелочке румяное яблоко. Афродита закусила его и сказала:

– Верные служители златой Афродиты! Вкусите сей сладкий плод тайного древа, дар мудрого змия, и познайте пламень чистейшей Любви!

Служители Афродиты поднялись, кроме золотого осла, все лежавшего под стопой богини, и она каждому дала откусить от яблока.

Затем она сняла ногу со спины поверженного, и, поднявшись, золотой осел вновь возгласил:

– Поклоняюсь тебе, Изида бессмертная, из бездны рожденная, властительница истины, светом коей озаряешь умы верных поклонников земнородных смертных!

И вновь повергся, простирая руки, уже перед черноокой Шевалье.

– Поклоняюсь тебе, Изида бессмертная! – хором воскликнули все мужчины и упали на колени

Изида поставила ногу на спину золотого осла, фригийский пастух поднес ей ручную кадиланицу, из которой шел ароматический дым.

– Верные служители тайнохранительной Изиды! Примите дыхание великой Истины, дар мудрейшего змия, и познайте разрешение оков ума вашего.

И она подула дымом на всех поднявшихся с колен служителей своих. Золотой осел вновь восстал из-под стопы второй богини и вновь возгласил, обращаясь к Жеребцовой:

– Поклоняюсь тебе, Великая Мать, источник жизни, питающая от сосцов своих всех земнородных вином чистейшим свободы! Освободи нас, Великая Мать, освободи нас!

Золотой осел в третий раз повергся долу, простирая руки. Жеребцова поставила на его спину полную свою ногу.

– Поклоняемся тебе, Великая Мать! Освободи нас, Великая Мать, освободи нас! – воскликнули, падая на колени, служители.

Поднесена была ей золотая чаша с вином, и Великая Мать сказала:

– Вкусите вина бессмертной Свободы и примите силы на брань! Сокрушите оковы народов, цепи рабства разорвите, повергните тиранов с престолов их и преторгните дыхание притеснителей!

И Великая Мать, отпив из чаши, поила по очереди всех служителей своих.

– Розы! Розы! Розы! – вдруг, взявшись за руки, сказали три богини.

– Розы алые Любви чистейшие! – сказала Афродита.

– Розы белые Истины чистейшие! – сказала Изида.

– Розы черные Свободы чистейшие! – сказала Великая Мать.

И фригийский пастушок подал три венка из роз алых, белых и черных. Едва богини коснулись этими венками ушастью головы золотого осла, как он сбросил с себя маску и, возвратив себе человеческий образ, швырнул ее на пол и раздавил каблуком.

Вслед за тем мистерия окончилась. Богини подхватили возрожденного, освобожденного и просвещенного нового человека под руки и повели его ужинать. Стол сверкал хрусталем, золотой и серебряной посудой, отягченный плодами, напитками и тончайшими яствами, и весь пол был усыпан белыми, алыми и черными розами... И обычный *petit souper fin*, с обильным возлиянием, вольными речами и свободным обхождением длился за полночь.

VIII DIEU DU SILENCE

Отец «маленького» Саши Рибопьера, мудрый «Dieu du Silence», удалясь от двора в новое царствование, занимался воспитанием трех дочерей своих; искусно направлял он и сына, охраняя его судьбу от подводных камней и мелей, столь многочисленных в изменчивом фарватере двора и света. Переписка с женеvскими друзьями и занятия наукой в богатом книгохранилище дома на Моховой замечательной архитектуры, который был им куплен у герцога Вюртембергского, занимали его досуги. Близкий к великому князю Александру Павловичу, он теперь укрепил особенно положение свое, когда графиня Скавронская, приходившаяся теткой Саше, вновь приобрела чрезвычайное расположение государя и готовилась к бракосочетанию с «балыи» ордена Иоанна Иерусалимского графом Литтой.

Иногда в книгохранилище, большие окна которого выходили в расположенный за домом изящный сад, собиралось небольшое избранное общество друзей хозяина.

Саша намеревался ехать к Долгоруковым, от которых получил записку, извещавшую, что княжна Анна, в нетерпении исполнить приказание его величества всегда танцевать вальс с Рибопьером, ждет его. Он зашел к отцу в библиотеку, по обыкновению, чтобы сообщить, где проведет вечер, и застал гостей.

Тут находился барон Николаи, библиотекарь государя и его преподаватель логики, славившийся погребом тончайших вин, который он составил за тридцатилетнее пребывание при российском дворе, собирая те приходившиеся на его долю бутылки, которые на четыре дня приносили в каждую из комнат, занятую особами свиты. А приносили каждому по две бутылки всех существующих сортов столового вина, по две – всевозможных ликеров, что в общей сложности составляло до 60 бутылок, не считая различных сортов английского пива, меда, минеральных вод и т. д. Коллекционируя все это, барон Николаи создал богатейший погреб в империи, сам не принимая внутрь ничего, кроме кофе и жиденького пива.

Кроме Николаи, в приюте мудрого «Dieu du Silence» находились: Граф Федор Головкин, граф Шуазель, Лев Александрович Нарышкин, живописец, поэт и музыкант Тончи, граф Юлий Помпеевич Литта, граф Строганов. Граф Федор Головкин рассказывал события семейной хроники своей фамилии. Судьба Головкиных в самом деле была замечательна. Через Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра I, Головкины имели с царем общего предка. Гаврила Головкин, граф Святой Римской империи, а в 1709 году первый русский граф, великий канцлер Петра Великого, держал на стене громадный белокурый парик, привезенный из чужих краев, который он, «по бедности», никогда не надевал; высокий, худой, бедно одетый в старый кафтан цвета соли с перцем, скупой сам, а жена еще скупее, он отправлял старые обычаи немецких кабаков, введенные царем-преобразователем на свои всешутейшие и всепьянейшие соборы.

– Можете ли поверить, *messieurs*, – рассказывал улыбающимся слушателям граф Федор, – что две всепьяные игуменьи брали большое золотое блюдо, на которое великий канцлер – как бы вам это объяснить? – *posait les attributs necessaires* и шел так вокруг стола при пении соответственных гимнов и орошая бога садов Приапа хмельным, густым и сладким медом!

Все улыбнулись.

– Кажется, у канцлера было три сына? – спросил граф Литта.

– Три. Алексей Гаврилович, Александр Гаврилович и Михаил Гаврилович, – отвечал граф Федор. И он стал рассказывать о трагической судьбе Михаила Головкина. Он был женат на дочери князя-кесаря Ромодановского Екатерине Ивановне, матерью же ее была Салтыкова, сестра Салтыковой – жены Ивана Алексеевича, отца императрицы Анны. При свержении младенца-императора Иоанна Антоновича 26 ноября 1741 года Елизаветой, Головкин с женой

был отправлен в Сибирь, где и умер. Тело его сибирские инородцы искусно набальзамировали и засушили, и жена хранила его в хижине много лет. Екатерина Вторая, взойдя на престол, возвратила из ссылки Головкину, и она привезла с собой труп супруга, который и предала честному погребению в родной земле. Она жила до девяноста лет, поселясь в старом дворце кесаря, отца своего, слепой старухой. И когда ее спрашивали, по какому случаю она ослепла, она отвечала: «Я плакала в течение трех лет!»

На Новый год, на Пасху весь свет собирался у нее. Она помнила хорошо еще Людовика XIV. Она разговаривала с *roi-soleil* и с *m-me de Maintenon*, гуляя с ними в садах Версаля.

Эта подробность, видимо, поразила графа Шуазеля.

– Беседовала с самим Людовиком и *m-me de Maintenon*! – повторил он. Недавняя слава королевской Франции представилась ему. Он вздохнул. И русские вельможи предавались воспоминаниям. Недавнее величие униженных голштинскими выходцами природных боярских родов, даривших цариц русскому народу, представлялось им. Русь, прежняя, свободная, могучая, чудилась и отзывалась. И Нарышкин и Строганов задумчиво обменивались взорами и качали головами, понимая друг друга без слов.

– Александр Гаврилович Головкин, – продолжал граф Федор, – родоначальник ветви так называемых заграничных Головкиных. Колокола святой Москвы убаюкивали его детство, и никто из тех, кто видел Сашу, играющего со своими сверстниками в тени кремлевских стен и фантастических куполов, не думал, конечно, что этот *bambin moscovite* некогда будет отцом и дедом многочисленных голландских, прусских и швейцарских отрождений фамилии и ревностным сыном реформатской церкви. Александр Гаврилович был отправлен в Берлин, где и провел юность, обучаясь в Академии, основанной королем Фридрихом I. Петр Великий отметил его и 22 лет назначил чрезвычайным посланником при берлинском дворе. В 1715 г. он женился на графине Екатерине Дона. Дело было так. Будучи в Стральзунде, Петр Первый просил прусского короля найти в своих государствах богатую и знатную девицу для его посланника. Фридрих, желая угодить царю, выбрал графиню Екатерину-Генриетту де Дона, наследницу бургграва Доны, имевшую связи через свою мать со всеми северными дворами и через бабушку, Эсперанцу дю Пюи маркизу де Монтбрюн, со всеми значительными домами Франции. Замешанный в деле царевича Алексея Петровича, Александр Гаврилович уже не вернулся в Россию. Тем невозможнее это стало после воцарения императрицы Елизаветы и опалы его брата.

Имя несчастного царевича Алексея опять заставило русских вельмож отдаться нахлынувшим на них историческим воспоминаниям. Ужасная гибель царевича от руки отца передала окровавленный трон российской державы в руки иноземцев, поднявших борьбу за власть на его ступенях. Кровь царевича Алексея до сего дня вопиет к небу. Преступление не остается одиноким, но рождает новые и новые преступления. Царевич Алексей погиб, и трон достается дебелой курляндке Екатерине. Потом конюх Бирон! Кровь Иоанна Антоновича! Кровь Петра Третьего! Без всяких прав ангальтская принцесса занимает трон, и вот долгие годы скрывавший в Гатчине униженное и оскорбленное право вознестя Павел Петрович... Вельможи задумались.

И граф Александр Сергеевич Строганов, улыбаясь, стал читать строфы недавно написанной в честь императора оды:

Он поднял скипетр – и пробежала
Струя с небес во мрак темниц, —
Цепь звучно с узников упала,
И процвела их бледность лиц.
Он принял меч – и луч горящий
В руке его увидел враг;

Пронесся дух животворящий
В градах, домах, в полках, в судах.

– «В градах, домах, в полках, в судах», – повторил за ним Нарышкин. Какой пиндарический огонь! Какой пиитический беспорядок!

Граф Федор заговорил о графе Александре Александровиче Головкине.

– Ах, Головкин, *le philosophe*! – воскликнул Строганов. – Дорогая и незабвенная тень, прими приношение чистых и прекрасных воспоминаний тебя знавших, с тобой обращавшихся! Дом графа Александра Александровича в Париже был очагом ума, вкуса, образованности; у него бывала вся французская знать. Обожатель Руссо, сего мизантропа, любви исполненного, особенно занимался он воспитанием дочери своей. До обеда она сопровождала отца в костюме молодого человека, а потом являлась девушкой. Могу ли забыть дни, проведенные у милого философа во время нашего путешествия с Катишь!

Строганов вздохнул о второй своей жене Екатерине Петровне, рожденной княжне Трубецкой, давно жившей с ним розно.

– То были дивные дни! – продолжал Строганов. – Век Людовика XV закатывался. Начиналось, и как счастливо, при каких сияющих надеждах, царствование его внука Людовика XVI. Начиналось при полном блеске версальского двора, философов, те атра, наук, искусств! Мы ожидали золотого века... Но мы не знали будущего, и благо смертным, что будущее всегда скрыто от глаз их...

– В Фернее мы навестили тогда великого старца. Дряхлый, больной, Вольтер редко уже выходил на воздух, и однажды после прогулки в солнечный день он, встретя у порога своего дома со мною Катю, дышавшую юностью и красотой, приветствовал ее словами: «*Ah, madame, quel beau jour pour moi – j'ai vu le soleil et vous*». (Ах, сударыня, какой счастливый день для меня – я вижу солнце и вас!)

Восторг изобразился на лицах вельмож. Граф Шуазель повторил несколько раз, видимо, впивая всю прелесть оборота речи:

– *Le soleil et vous! Le soleil et vous!* И солнце, навеки закатившееся солнце королевской Франции словно засияло ему, бессмертному, из воскресшего в воспоминаниях мадригала фернейского старца!

IX

GOLOVKINE LE PHILOSOPHE

– Golovkine le philosophe! – задумчиво сказал Строганов. – Когда я звал его в Россию, представляя цветущую в стране безопасность под златым скипетром премудрой Астреи, он всегда говорил, что тогда вернется, когда отменены будут на святой Руси поговорки: «без вины виноваты», «все Божие и государево», «бит, да доволен». Он переводил эти поговорки по-французски: *je suis coupable, sans avoir pèche; tout est à Dieu et au souverain; être battu et content...*

– Но что сказал бы он, – возразил Шуазель, – что бы он сказал, если бы дожил до кровавых дней изрыгнутых адом на Францию чудовищ Конвента!

– На ком был женат граф Александр? – спросил Литта.

– На дочери профессора Иоанна Лоренца фон Мосхейм, *dont l'érudition profonde, l'éloquence élégante et la fécondité littéraire avaient illustré pendant de longues années les chaires de théologie de Goettingue* (глубокая начитанность, блестящее красноречие и литературная производительность в течение долгих лет украшали кафедры богословия Геттингена).

– Sa veuve comtesse Golovkine, née von Mosheim, – воскликнул Шуазель. – Трагическая судьба изгнанников королевской Франции так глубоко тронула чувствительное сердце этой прекрасной и просвещенной женщины, что она стала ангелом-хранителем славнейшего и несчастнейшего из них! Это Жан-Поль-Франсуа, герцог де Ноайль, мать, жена и дочь которого погибли в один день 4 термидора II года эры дьяволов, спущенных с адских цепей из тартара, чтобы истребить все прекрасное Франции! Погибли под ножом гильотины!.. Герцог де Нодиль уже второй год как женат на вдове Головкина и укрылся с нею в скромное поместье, предаваясь наукам и искусствам.

Строганов отдался воспоминаниям о покойном графе Александре Александровиче.

Окончив курс наук в Голландии, он с ужасом вдруг увидел, что ничего не знает, хотя оказывал довольные успехи. «Время моего обучения прошло, – сказал себе Головкин, – а я ничего не знаю! Вина ли это моих наставников? Нет. Эти почтенные люди проявили столько же усердий, сколько и познаний. Виной ли в этом книги, которые я изучил? Неужели вся Европа в течение веков ошибалась в их выборе? Можно ли прийти к единодушному убеждению, что до сих пор вручали юности книги, которые ничему ее не научили? Это невозможно. Если же я ничего не знаю, то это единственно моя собственная вина. В таком случае начнем что-либо лучшее!» И вот, без всякой чужой помощи, один, запершись в своей келье долгие часы ежедневно, Головкин стал вновь изучать уже пройденные книги, предаваясь глубоким размышлениям. «Если я что-нибудь знаю, – говорил потом граф Александр, – то обязан только этому второму курсу, который меня убедил в том, что мы знаем лишь только то, что сами изучили, без всякой сторонней помощи». Большую часть года философ проводил в поместье около Лозанны. Сельский домик, окруженный старыми кедрами, некогда был обитанием Вольтера, потом принца Людвиг Вюртембергского и, наконец, друга принца, графа Головкина.

Окрестности Лозанны живописны. Пленительные места, где озеро радостно сияет дивной лазурью, деревни рассыпаны в тени столетних орехов, древние монастыри!.. Это были прекраснейшие дни Лозанны. Столица земледельческой страны привлекала сельскую аристократию. Звучные имена сеньоров напоминали героические времена отдаленной эпохи, но их возделанный ум, возвышенные чувствования, утонченное в полной простоте обхождение принадлежали лучшему веку Людовика, Фридриха, Екатерины. Прелесть общества, очаровательность женщин соперничали с красотами волшебной природы. В раме зеленых виноградников *la pittoresque silhouette du vieux Lausanne* вызывал удивление плененного путешественника, равно как грандиозные вершины Савойских гор и поросшие соснами берега Лемана. Все эти преимущества производили магическое влияние на развитых иностранцев. Они прибывали со всех

сторон и останавливались в Лозанне. Так перебывали здесь Гиббон, Вольтер, маркиз де Лангьерери, Разумовский, принц Людвиг Вюртембергский, брат императрицы Марии Федоровны и множество других, между которыми философ Головкин занимал место, достойное его происхождения и блестящих познаний. Все там свободно отдавалось осмысленному покою, забавам, занятиям по склонностям. Гиббон писал историю Византии, Вольтер – трагедии, Разумовский изучал натуральную историю Юры, а принц Вюртембергский основал «Нравственное общество Лозанны», издававшее свой журнал «Аристид или Гражданин» (*Aristide ou le Citoyen*)...

– Но ведь Головкин потом был вызван в Берлин? – спросил граф Литта.

– Да, – отвечал Строганов, – место «директора спектаклей» стало вакантным, и Фридрих Великий предложил его нашему философу.

– Должно помнить, – сказал граф Федор Головкин, – что у графа Александра было две сестры, вышедших замуж за прусских аристократов. Одна из них, тетушка графини Камек, пользовалась особым уважением великого короля.

– Во всяком случае, положение было не из легких, – сказал Строганов, – и он занимал его всего два года. «Директор спектаклей» ежедневно должен был иметь доклад у монарха, стремление которого беречь государственную казну, развившееся со времени Семилетней войны, достигло, наконец, степени скупости. А вы знаете расходы театра!

– Фридрих Великий страстно любил музыку, – возразил Нарышкин, – первым делом его царствования было возведение величественного здания оперы, которое и ныне украшает бульвар «*Unter den Linden*» в Берлине. Когда этот храм муз был окончен, король поручил их культ достаточному числу актеров и актрис. Танцы тоже имели своих жриц. Берлин мог гордиться знаменитой Барбариной.

– Ах, Барбарина! – воскликнул граф Шуазель. – Вы знаете, что ее ангажемент послужил тогда к дипломатическим переговорам между Пруссией и Венецианской республикой! Уже подписав контракт с администрацией берлинской оперы, прекрасная танцовщица увлеклась юным лордом Макензи Стюартом и объявила, что не желает ехать в Берлин! Ее принудили к тому силой, разлучив с любовником!

– Именно во время директорства моего отца в Берлине, – рассказывал граф Федор Головкин, – царствующий государь, тогда великий князь, Павел Петрович совершал свое путешествие в Берлин.

– Это был триумф, – сказал Нарышкин, – король употребил все старания, чтобы пленить и привлечь наследника российского престола. При свидании с Фридрихом Павел Петрович выразил восхищение, что ему довелось видеть величайшего героя, удивление нашего века и удивление потомства! Король на это пригорюнился и сказал: «Я только бедный, хворый, седовласый старец, обрадованный приездом сына лучшего своего друга, великой Екатерины!» В свите великого князя тогда были, – со светлой улыбкой вспоминал Нарышкин, – фельдмаршал граф Румянцов-Задунайский, граф Николай Иванович Салтыков, князь Александр Борисович Куракин, барон Николаи, доктор Бек и я. Поэты и музыканты Берлина соединились тогда, чтобы сочинить достойный случая пролог. В конце пролога гении России и Пруссии бросаются в объятия друг друга, соединяя голоса в дуэт. *Mais le hasard voulut que le génie de la Russie fût chatif, tandis que celui de la Prusse était représenté par un acteur de formes puissantes!* (Но по случаю гений России был тощий, тогда как гения Пруссии изображал актер с мощными формами.) Великий князь это заметил и был недоволен.

X АННИНСКАЯ ЛЕНТА

Княжна Анна сидела на постели, обняв бледными ручками колени. Черные волосы ее рассыпались и покрыли хрупкое, нежное тело девушки, как плащ. В окна спальни тускло глядело больное, мглистое осеннее утро. Пора давно было вставать, и камер-юнгферы княжны несколько раз уже входили с предложением услуг, но фаворитка гнала их от себя.

На столике перед ней лежала толстая книга в коже, с закладками, благоухавшая кипарисовым маслом, ветхая, с потемневшими краями страниц – печорского издания XVII века собрание молитв и акафистов, – по которой молилась еще бабка ее. Книга была раскрыта на акафисте великомученице Варваре, на стихах:

«Странное и страшное святые Варвары страдание видящи, благоверная в женах Иулиания удивися зело: како млада отроковица в юнотнем телеси таковыя мужественно за Христа терпит муки; та же слезного исполнившись умиления, благодарственно и та возопи Христу Богу: Аллилуйа».

На миниатюре заставки изображена была Иулиания, стоящая под окном темницы, за решеткой которой, окруженный сиянием, таинственно являлся вдохновенный образ великомученицы. Кругом холмы, леса, здания в ночной тени и лунном сиянии искусно изобразил старинный гравер.

«Како млада отроковица, – шептали губы княжны, – таковыя мужественно за Христа терпит муки!...»

И княжна шептала давно наизусть известные слова следующего икоса:

«Весь сладчайший Иисус сладость, весь желания тебе бысть, святая Варваро: сладце бо его ради горькия терпела еси муки, глаголющи: чашу страданий, юже даде ми возлюбленный мой жених, не имам ли пити?.. Тем же и сама показалася еси чаша, сладость чудесных исцелений изливающая». Сердце княжны трепетало сладкой мукой и жаждало молитвы, уединения, подвига... Ах, уйти бы от суеты мирской, из этого дома, от двора, от почестей и лести! Уйти далеко, к святым угодникам, и там, у гробов их впитать вдохновенную силу примера их чрезвычайной равноангельской жизни! Служить единому Христу! Покорить себя легкому игу благих Его заповедей, весь мир любить, всем благотворить... И пострадать за него, как Варвара!.

Мечтания княжны прервал шум резко распахнувшейся двери.

В спальню поспешно вошли мачеха княгиня Екатерина Николаевна и *dame de compagnie* княжны, госпожа Жербер, особа довольно еще молодая и привлекательная. Обе были парадно одеты и, войдя, всплеснули руками:

– *Mademoiselle* еще в постели! Не причесана! Не одета! Боже мой! Его величество пожалует через три четверти часа! – вскричала госпожа Жербер.

– Она в постели! Девки! Палашка! Сонька! Катька! – пронзительно закричала княгиня, хлопая в ладони.

Из трех дверей огромного покоя ринулись в спальню камер-юнгферы.

– Где вы были, подлянки? Что вы до сих пор делали? Почему не одета княжна?

Отвратительный хряск пощечины раздался в сумрачной комнате.

– Виноваты, государыня, виноваты! – падая к ногам княгини, завопили горничные. – Их сиятельство не изволили вставать! Их сиятельство изволили нас прогнать! Виноваты без вины, матушка-государыня! Без вины виноваты!

– Виноваты, подлые! – кричала Екатерина Николаевна. – В рогатку захотели, негодницы! С лакеями таскаться по чуланам мастерицы, гнусные! Всех сошлю в деревню свиньям месить,

гусей пасти, лучину тупым колуном щипать! – И госпожа изо всех сил щипала обнимавших ее ноги девушек.

– Мамап, не браните их, не бейте, – вступилась княжна, – они не виноваты. Я сама не вставала

– Не смей заступаться за тварей, сударыня! Они тем виноваты, что я на них зла, – закричала мачеха. – Сейчас не виноваты, завтра проштрафятся Или я не хозяйка в доме и взыскать с людишек не могу? Что ты меня учишь! Я знаю, кто виноват, кто нет! Что ты против меня подданных моих поднимаешь? Я государю жаловаться буду!.. Ну, что стоите, дылды? Одевать княжну! Обувать княжну! Умывать княжну! Чесать княжну! Живо! Живо! Живо!

Камер-юнгферы бросились исполнять приказание и окружили княжну, спустившую ножки с постели.

– Ха! ха! ха! – переменяя тон, со смехом обратилась княгиня к госпоже Жербер. – Если их не шпынять, в доме содом будет!

– Простите, девушки, что из-за меня страдаете! – прошептала юнгферам княжна. Слезы канули из ее очей. Те незаметно целовали ей ручки и ножки, на которые натягивали чулки. Княжна защищала и спасала от наказаний всех, кого могла, не только из дворни и крепостных отца, но и чужих, часто прося за несчастных государя. Поэтому люди обожали ее и шли к ней со всеми своими бедами и горестями.

– Ваше сиятельство должны помнить верноподданнический долг свой, и что если его величеству благоугодно видеть вас и осчастливить высокомонаршим посещением дом ваших родителей, то в назначенное время обязаны вы изготавиться, – наставительно говорила госпожа Жербер, между тем как княжну спешно одевали, мыли и причесывали. – Что будет, если его величество пожалует, а вы не готовы? Вы навлечете гнев монарший и на себя, и на родителей.

– Ах, у меня подколенки трясутся и пот прошибает от страха! – вскричала мачеха.

Княжна, однако, была готова, когда еще до приезда государя оставалось минут двадцать, и в сопровождении мачехи и г-жи Жербер вышла в парадные покои. Ей навстречу поспешно появился князь-отец и, подставив ей щеку и руку для поцелуя, приложил сжатые губы ко лбу дочери.

– Готова, наконец! – оглядывая ее туалет проницательным взглядом, сказал он. – Какая беспечность! Трепещу при одной мысли, если бы к прибытию императора ты оказалась неготовой! А все чтение романов! Ночь читаешь, утром просыпаешь. Я часто сам за чтением ночи не замечаю. Но это не мешает моей исправности. *Nous autres savants...*

Князь действительно по каталогу приказывал каждый вечер приносить ему книгу и класть раскрытой на изголовье. Но еще не бывало случая, чтобы он, начав чтение первой страницы, ее перевернул. Густой храп прерывал чтение. А особый человек к тому был приставлен, чтобы смотреть, дабы князь не спалил книгу на свечке и не наделал пожара. Книжка каждый вечер клалась новая.

Князь удалился в особый кабинет на парадной лестнице, чтобы по докладу стоявших через каждые пять ступеней и по улице до ближайшего угла лакеев спешить навстречу государю.

Княжна села за пядьцы, в которых вышивала Страсти Христовы для перевязи императора. Госпожа Жербер и мачеха встали по сторонам двери, в которую должен был войти государь. Волнение княгини дошло до высшего напряжения. Щеки ее пылали, дебелая грудь вздымалась, и она усиленно обмахивалась веером.

– Какое бесчувствие! Какая неблагодарность! В лучшем случае непозволительная беспечность! – говорила она. – Милостями осыпана. Имеешь шифр фрейлины, обещано кокарду статс-дамы. Немного повременить – и будет. Кроме того, большой крест Св. Екатерины имеешь, а знак Мальтийского ордена обещан! Тебе да графине Литте! Сам государь сказал Кутайсову это. Лишь две дамы представлены будут к ордену Св. Иоанна Иерусалимского! Верите

ли, госпожа Жербер, как Аннушка в первый раз ужинала в Зимнем на бале, государь и за стол не садился, а изволил проводить время обозрением заседающих при столе персон. Какая доброта ангельская! И чудное дело, когда Аннушка еще ребенком была, ей цыганка предсказала, что она сделается знатною дамою и будет иметь четыре ордена. Четыре ордена для женщины! Мыслимое ли дело! И все сбывается! И что же? Где чувствительность? О смердах, пощадь не достойных, поминутно государя беспокоит, а родителям исхлопотать ничего не желает! А кабы не я, не мой ум и сноровка, никакая цыганка не наворожила бы! Мной все в действие приведено! Все мной! Я тебе, Аннушка, говорю еще раз, попомни просьбицу мою, – обратилась она к княжне, – выпроси ты Феденьке аннинскую ленту. Ну что стоит государю! А я и сплю, и вижу Феденьку в ленте! Слышишь? Выпросишь, что ли?

Она говорила о своем любовнике Уварове.

– Маменька, – дрожащим голосом отвечала падчерица, – пусть мне цыганка наворожила, да сама-то я не цыганка и выпрашивать не умею! Пощадите меня!

– Не умеешь, потому что для меня! – злобно прошипела мачеха. – Ну, я тебе этого, голубка, не забуду! Я тебе это припомню, душенька!

Она задыхалась от злобы.

– Государь! – вдруг раздался отдаленный крик в конце анфилады зал и гостиных.

– Государь! Государь! Государь! – один за другим повторяли скороходы, поставленные в каждой дверях.

– Ахти, государь! – всколыхнулась княгиня. Смертный холод мгновенно сковал руки и ноги княжны Анны. Сердце мучительно забилося и упало. Игла замерла в трепещущих пальцах. Она ничего не видела, ничего не сознавала, кроме того, что вот сейчас войдет невысокий человек, в руках которого ее судьба, честь и сама жизнь.

Княгиня Лопухина и госпожа Жербер, тоже побледневшие под румянами, заранее склонились в низком реверансе.

ХІ ЗАПИСКА

После того, как княжна Анна отказалась выпросить у государя ленту для любовника мачехи, о чем самая мысль была ей нестерпимо оскорбительна, бедной фаворитке решительно не стало житься в доме. Княгиня изобретала тысячи способов сделать ее существование невыносимым, и она находила отдых и успокоение только у Долгоруковых.

Ревностно исполняя повеление государя всегда танцевать вальс с Рибопьером, княжна Анна проводила почти ежедневно свободные часы в обществе беспечного, неистощимо веселого француза.

Танцы, игры, смех и болтовня чередовались с чтением новейших произведений литературы, конечно, не русской.

В то время как старый князь проводил досуги с госпожой Госконь в доме Шевалье, а мачеха уединялась на антресолях с Уваровым, княжна спешила к заветной двери, соединявшей родительский дом с беспечной семьей Долгоруковых. Там ее уже ожидала обоюдо пола молодежь, корнеты конной гвардии, гулист и цимбалист, кошки, собаки, канарейки, ученые сороки, горы лакомств!.. Госпожа Жербер покровительствовала этим невинным времяпрепровождениям, потому что французский темперамент влек туда, где было весело, она же была еще достаточно молода, свежа и привлекательна, чтобы заслужить внимание молодых воинов... В то же время она исполняла и обязанности неотлучной дуэньи, препорученные ей государем. Слова, брошенные практичным бароном Николаи, не прошли мимо сердца Саши Рибопьера. Юноша задумался. Внимание фаворитки в самом деле могло доставить ему звание адъютанта. Император любил приближать к себе глубоких старцев и зеленых юношей. Резкие контрасты соответствовали его противоречивой, романтической натуре.

Но деликатность не позволяла Саше Рибопьеру прямо просить княжну Анну похлопотать за него. Тогда он открылся госпоже Жербер, и та обещала передать при случае это его желание.

В ноябре император принял титул магистра ордена Иоанна Иерусалимского. Еще год тому назад магистр ордена, достойный старец Роган умер. Граф Литта, облеченный званием чрезвычайного посла, имел торжественный въезд в столицу и публичную аудиенцию, на которой поднес императору Павлу титул протектора ордена, вмещавшего в себе древнейшие дворянские роды почти всей Европы.

Императору прислан был, кроме того, старинный крест славного гроссмейстера Лавалетта, другой крест из части древа животворящего Креста Господня, чудотворный образ Божьей Матери, писанный святым евангелистом Лукою, и десная рука мощей святого Иоанна Крестителя.

Присланы были знаки Мальтийского ордена и для всех особ царского семейства, также для государственного канцлера князя Безбородки, для вице-канцлера князя Куракина.

В тронную залу, где совершалась церемония, прибыла императрица, и, приняв из рук государя орденские знаки, заняла место на троне. Затем к престолу подошел Александр Павлович без шпаги и преклонил колено.

Император, надев шпагу и обнажив меч, сделал им три рыцарских удара по плечам великого князя, вручил ему шпагу, поцеловал его и возложил на него знаки Большого креста.

Французский принц Конде, тоже пожалованный в кавалеры Большого креста, наречен был великим приором русским.

После обеда государь принял кавалерами Большого креста князей Безбородко и Куракина, раздал другие кресты и назначил всех командоров и кавалеров великого приорства.

К удивлению всей Европы, русский царь принимал верховное начальство над религиозным и военным орденом, признававшим папу своим духовным главой. Но по своему положению

нию в Средиземном море остров Мальта, без всякой обороны сданный первому консулу Бонапарту беспечными кавалерами на пути его в Египет, обещал России важную точку опоры в сношениях с Оттоманской Портой.

Русский император в качестве гроссмейстера становился во главе всего дворянства Европы. А русское дворянство становилось равноправным членом европейской рыцарской семьи.

Все сие давало оплот для борьбы с гидрою революции, рушившей алтари и престолы...

Теперь, ровно через год, весь корпус мальтийских кавалеров торжественно поднес императору Павлу корону и регалии нового сана, включенного затем в титул императорский. Декларацией, обнародованной в Европе, дворяне всех христианских стран приглашались ко вступлению в орден. Кавалеры, и между ними великий князь Александр Павлович, совершали затем, став по сторонам трона, у коего стоял в регалиях гроссмейстер, некоторые обряды. Снимали шляпы и махали ими. Обнаженные шпаги воздымали и уклоняли, образовав над Павлом Петровичем как бы стальной свод.

Составлен был верховный священный совет ордена.

Князь Лопухин сделан был великим командором. Назначены были оруженосцы к великому магистру от конной гвардии и полков Преображенского, Семеновского и Измайловского.

Княгиня Лопухина употребила все старания, чтобы ее возлюбленный, новопроизведенный конной гвардии полковник Феденька Уваров был назначен оруженосцем.

Назначен был от конной гвардии оруженосцем к великому магистру Саша Рибопьер.

В пунцовом одеянии с черными отворотами, с обнаженными мечами оруженосцы окружали Павла, когда он шел церемониально в церковь или аудиенц-залу.

В деле назначения Саши Рибопьера оруженосцем влияние княжны Анны было ни при чем. За него хлопотала тетка графиня Литта. Но мачеха княжны была уверена, что именно падчерица провела своего мальчишку, с которым вертится, и перешла дорогу Феденьке и ей самой. Оскорбленная в нежнейших чувствах престарелость не смогла сдержать своей ярости и, ворвавшись к княжне, извергла на ее голову поток упреков в интриганстве, неблагодарности и т. д.

– Для меня не хотела попросить, а для своего вертопраха небось выклянчила! – кричала княгиня.

Княжна Анна выслушала до конца мачеху, не сказав ни слова, только побледнела, и черные глаза ее сверкали. Потом она ушла с госпожой Жербер к Долгоруковым.

Там уже ожидал ее Саша Рибопьер. Во время танцев она как бы ненароком спросила его, все ли мечтает он об адъютантском мундире, будучи уже возведен в оруженосцы?

– Конечно, княжна. Кто из нас, корнетов, о сем не мечтает! И сами судите: быть ли оруженосцем мальтийского магистра или адъютантом всероссийского императора? Полагаю, островок не идет в ряд со страной великой, как бы особливую частью света.

– Ах, а я бы предпочла обитание на тихом острове, куда бы не проникала людская зависть и злоба! – сказала княжна.

– О, конечно, если бы сей остров был населен вами, то б должно его предпочесть всему свету! – поспешил с комплиментом юный оруженосец.

Княжна засмеялась и подбежала к госпоже Жербер, окруженной молодецкими усами, палашами и ботфортами, что-то ей пошептала, а затем, достав маленький бумажник, написала на страничке, вырвала ее и отдала госпоже Жербер.

Та взяла записку и с низким поклоном немедленно удалилась.

Веселье молодежи продолжалось, и время летело незаметно.

Вдруг вошла опять госпожа Жербер и, подойдя к княжне, присела до земли и сообщила:

– Исполнено!

Княжна весело рассмеялась и закружилась с Рибопьером в вальсе.

Рано утром на другой день за Сашей приехал флигель-адъютант Толбухин с приказом императора сейчас же явиться во дворец. О причине Толбухин не мог ничего сообщить.

По приезде в Зимний, юный оруженосец был проведен в кабинет императора. Там находился фельдмаршал Суворов. Государь посылал его в Италию спасти троны, которые опрокидывал мимоходом в титаническом развитии своей карьеры Наполеон Бонапарт, и Саша был свидетелем странных коленопреклонений перед Павлом и таинственных фраз, благословений и жестов, которыми напутствовал великого полководца великий магистр. Из кабинета императора Суворов бегом побежал в дворцовую церковь и долго лежал перед алтарем.

Император обратился к Рибопьеру и весело подмигнул своему семнадцатилетнему оруженосцу. В руках его была карта Европы. Он перегнул ее пополам и сказал:

– Видишь эту карту? Так разделю я Европу с Бонапартом, если только он возвратит ордену Мальту. Но пока не возвратил...

Император сделал ужаснейшую гримасу, захохотал и, подпрыгивая и потирая руки, повторил несколько раз:

– У Павла есть Суворов! У Павла есть Суворов! Ну, да я не затем звал тебя, – успокаиваясь, серьезным тоном сказал император. – Вам еще рано заглядывать в ущелья мировой политики. Это вино не по вашей юной голове. А вот зачем звал вас: поздравляю вас моим адъютантом.

И, приняв величественную позу, император протянул руку для поцелуя упавшему на колени юноше.

– Есмь вам благосклонным! – сказал Павел и вышел из кабинета церемониальным маршем.

ХІІ ЗЛОЙ ОМУТ

Назначение Саши Рибопьера адъютантом императора лишило сна и аппетита княгиню Лопухину. Она металась по дому, задыхаясь, с обезображенным злобой и красными пятнами лицом, была собственноручно служанок и отсылала за воображаемые провинности лакеев к зверообразному конюху, исполнявшему в доме обязанности палача.

– Феденька только полковник и то с великим трудом через силу добился, а мальчишка-плясун через эту девчонку уже адъютант! – повторяла она. Конечно, от княгини не могло скрыться, что г-жа Жербер ездила во дворец с нарочитой запиской от падчерицы к государю, немедленно исполнившему просьбу дамы сердца с рыцарской предупредительностью. И это после ее упреков падчерице за происки до доставлению Рибопьеру звания оруженосца! Девчонка явно на зло сделала! Недовольна тем, что оруженосец, так вот тебе – уже и адъютант! Но постой, погоди!

И мачеха строила планы мести. Жизнь бедной фаворитки стала воистину некрасна. Родительский дом для нее превратился в какой-то злой омут. Во всех углах шли заговоры, плели гибельные сети, строили ковы. Посещения государя ее утомляли, требуя напряжения всего внимания, чтобы не возбудить чем-либо гнев его. Дух Павла Петровича, странный, капризный, переменчивый, ужас ежеминутно грозящей гибели от припадка слепой ярости, его мистические беседы, прерывающиеся буффонадами, постоянная крайняя подозрительность, ревность – удручали княжну, и часто по отъезде государя бедная фаворитка, удалясь в спальню, разражалась рыданиями. Мачеха после припадка ярости припрятала когти и стала обращаться с падчерицей с притворной нежностью, которая, конечно, не могла обмануть. Мачеха ждала удобного случая отомстить. Зависть к положению падчерицы грызла ее. Почему бы государю не обратить внимание на более зрелую и опытную красоту? Что он нашел в бледной, унылой девчонке? Княгиня Лопухина находила в любезности государя нечто большее – зарождающееся внимание... Княгиня усиленно подновляла свои поздние прелести и рядилась. И ей казалось, что сегодня государь пристальней на нее посмотрел, нежели вчера, и милостивее беседовал... Безумные мечты честолюбия зародились в воспаленном воображении злой старой бабы...

Княжна страдала и по ночам дрожала от страха... Хотя она не знала всего происходившего в доме, однако многое передавали ей преданные служанки. Они рассказывали о странных собраниях в отдаленных покоях князя, на которых пели и совершали таинственные обряды люди в масках, в необыкновенных одеяниях и шпагами прокалывали куклу в золотой короне. Они многое рассказывали. И напуганному воображению княжны мерещились крадущиеся шаги, потайные ходы, двери, люки! Она знала, что отец ее принимал тайно каких-то виленских евреев-раввинов с крупными пейсами, в мантиях, подбитых пестрым мехом и ермолках. И что на этих странных ночных совещаниях присутствовал бывший польский король Понятовский. Она знала, что евреи принесли под своими плащами мешки с золотом и высыпали их на стол в большую кучу. Потом они зажигали курения, читали заклинания из огромной книги «Зогар» и вызывали духов...

Многое другое, необыкновенное и ужасное, сообщали княжне при вечернем раздевании, шепотом, оглядываясь, умоляя не погубить, девушки.

Злой омут затягивал княжну, дышал мраком и ужасом, и спасенья от него не было.

Да, три дома на Невской набережной, соединенные тайными ходами, дверями и лазейками, составляли западню, куда, однако, Павел Петрович доверчиво приезжал почти ежедневно *privatamente*!

Здесь обитали Парки, выпрядавшие нить его жизни, во власти которых было прервать ее в роковой миг! Эти Парки были юны и прелестны, и одной из них, сама того не зная, являлась

княжна Анна, такая же жертва, игрушка в руках коварных интриганов. В этих трех соединенных в один домах шла тайная работа, выковывалась огромная сеть, отдельные нити которой протягивались по всей Европе и Соединялись в Лондоне. Люди, тайно и явно посещавшие дом князя Лопухина, вели огромную игру, от исхода которой зависели судьбы всей Европы. Постоянно являлись сюда посланцы из европейских столиц, и сам великий банкир Европы рабби Меер Амшель присылал сюда своих поверенных. Иезуиты, масоны, якобинцы, в карманах которых звенело английское золото, агенты Наполеона Бонапарта, куртизанки, мальтийские рыцари, еврей-кабалисты и всевозможные всех наций иностранцы появлялись здесь таинственно и незаметно опять исчезали. В разных углах постоянно о чем-то шептались, сговаривались, и все это создавало самую удушливую нравственную атмосферу.

XIII ГРОМ ПОБЕД

Весной 1799 года открылись военные действия. Собственной причины к войне с французами, по-видимому, Россия не имела. Она вступилась за угнетенную Европу и поработенную Бонапартом Италию за трон короля сардинского, который скитался изгнанником и молил о помощи императора Павла. Ко двору короля сардинского был аккредитован князь Адам Чарторыйский, выехавший, по высочайшему повелению, отыскивать изгнанника... Император российский, соединясь с Австрией, поднял оружие против республики Французской. Суворов, семидесятилетний старец, послан был исполнителем бескорыстия императора Павла, но после блестящих побед своих в северной Италии столкнулся с своекорыстными видами венского двора. После перехода через Адду 18 апреля Суворов торжественно вступил в Милан. Военные реляции возбудили вдохновение маститого певца Державина, и он прославил подвиги фельд-маршала в оде «На победы в Италии». Он назвал Суворова «вождем бурь полночного народа», «девятым валом», «мечом Павла», «щитом царей Европы». Но Италия явилась для Суворова, по его словам, «пургаторием», средним местом между адом, куда толкали его австрийцы, и раем, куда влекло полководца гениальное прозрение. Ад был – Швейцария; рай – Франция. «Меч Павла», «вождь бурь полночного народа», «девятый вал» европейского моря, возмущенного до дна Великой французской революцией, Суворов принужден был исполнять близорукые предписания австрийского императора, вести мелочную борьбу с австрийским министром бароном Тугутом, терпеть каверзы венского гофкригсрата, выслушивать венских стратегов вроде Вейротера, всяких «проекторов», «элоквентов» и «пустобаев», на основании ученых выкладок науки стратегии в венских кабинетах строивших хитроумные диспозиции, желавших навязать их русскому полководцу и умертвить его гений. Единственный противник Наполеона Бонапарта, гений ему равновеликий, способный положить предел блистательному поприщу первого консула, был семидесятилетний старик, истерзанный огорчениями, утомленный тяжелой борьбой против козней и происков. Суворов исторг из рук французов и занял большую часть крепостей северной Италии, но считал необходимым остаться здесь еще два месяца, дабы упрочить свои завоевания. Он предвидел, что без этого австрийцы не удержат их за собой. Австрийский император предписывал Суворову немедленно идти в Швейцарию. Суворов просил о снабжении русской армии необходимыми запасами, орудиями, лошадьми. Австрийское правительство оставляло его заявления без внимания. Коварные и близорукые союзники считали, что каштан уже вытасчен руками глупых русских варваров из полымя и теперь они не нужны, они даже опасны. Вена не понимала, что ей не удержать голыми руками горячий каштан. И посылала в Альпы утомленную, обносившуюся, лишенную запасов русскую армию на гибель. Старик Суворов сделал, что нужно для Вены, – казалось интригану барону Тугуту. Старик Суворов может стать опасен при дальнейших победах. Пусть его побродит в альпийских ущельях. И эрцгерцог Карл выступил из Швейцарии и оставил там Римского-Корсакова с одними русскими войсками. Суворову не оставалось выбора. Но он медлил и писал жалобы Павлу, графу Ростопчину, русскому послу при венском дворе графу Андрею Кирилловичу Разумовскому. «Бога ради, – молил он последнего, – выведите меня из пургатория. Ничто не мило. Стыдно мне бы было, чтоб остатки Италии в сию кампанию не опорожнить от французов. Потом и театр во Франции не был бы тяжел. Мы бы там нашли великую часть к нам благосклонных». «Опорожнить Италию от французов: дать мне полную волю!» «Чтобы мне отнюдь не мешали гофкригсрат и гадкие проекторы». «Иначе: мне здесь дела нет! Домой, домой, домой!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.